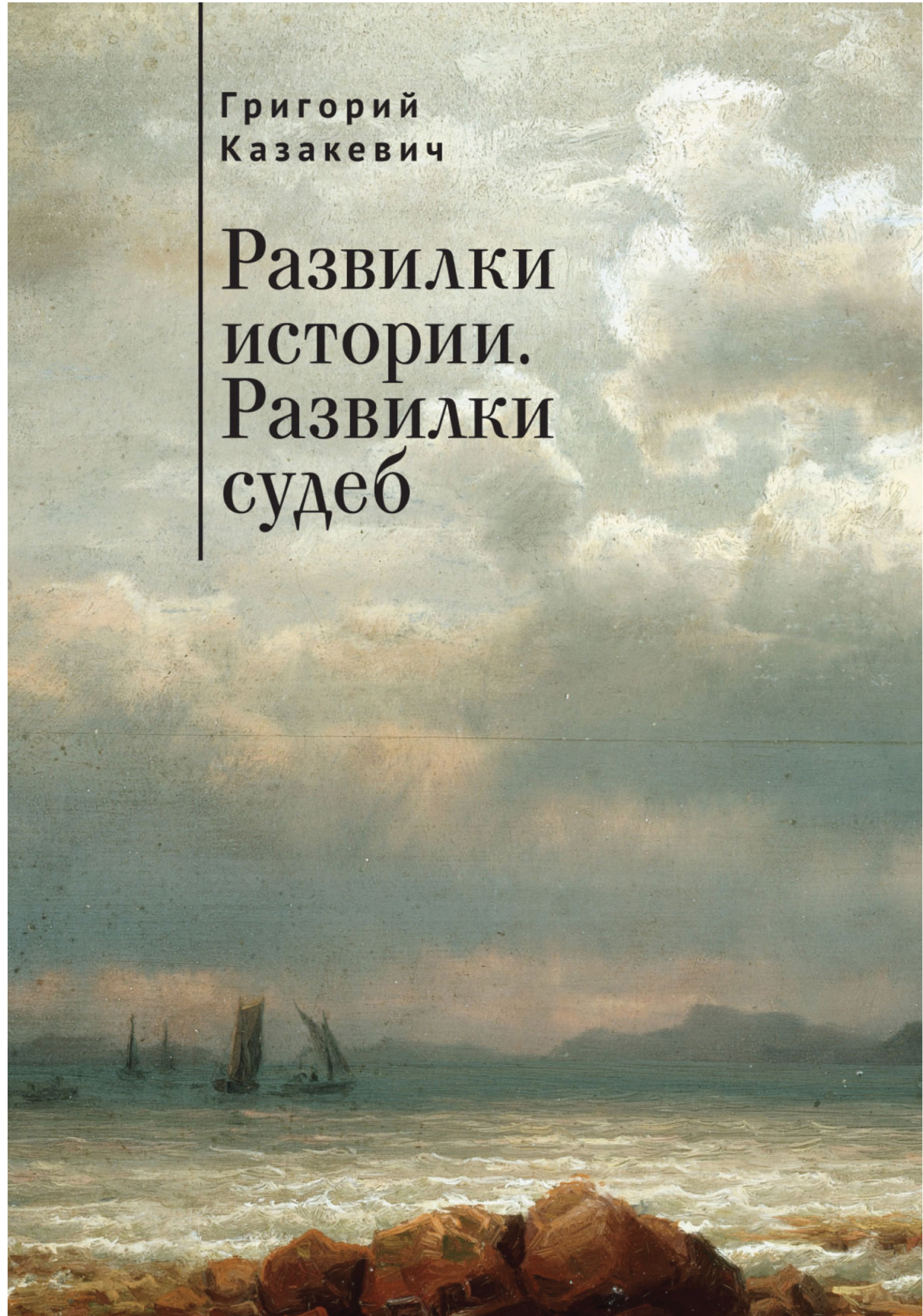


Григорий
Казакевич

Развилки
истории.
Развилки
судеб



Григорий Казакевич

Развилки истории. Развилки судеб

«Алетейя»

2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Казакевич Г. И.

Развилки истории. Развилки судеб / Г. И. Казакевич —
«Алетейя», 2021

ISBN 978-5-00165-215-1

Произведения, представленные в книге, переносят читателя в разные эпохи и страны. Их персонажи: Александр Македонский – и медсестра Великой Отечественной войны; кот, рвущийся к возлюбленной через все преграды, – и человек, рисующий ёжиков на готовом растаять снегу; великий китайский флотоводец Чжэн Хэ – и улитка, ползущая через асфальтовую дорогу; кентавр Хирон – и мастер-кукольник, в разорённом городе дарящий детям сказку; человек, борющийся с Богом и пытающийся создать Бога, – и человек, наблюдающий, как уничтожают статую бога... И многие другие. В рассказах и повести неразрывно слиты напряжённый динамичный сюжет и философское осмысление; высокий эмоциональный накал и чёткая логическая структура. Рассматриваются проблемы жизни и смерти, выбора и расплаты за выбор, возмездия и прощения, милосердия и жертвенности; противоречие между внутренним долгом и общественными установлениями, между стремлениями и результатами; душевные терзания, рвущие на части самого человека и людей, связанных с ним. А в эссе, замыкающем книгу, раскрываются тайна Печорина и источник происхождения имени «Максим Максимыч».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-215-1

© Казакевич Г. И., 2021

© Алетейя, 2021

Содержание

Предисловие	7
Мощь и мука	9
Волшебная музыка	9
Распятие	16
Святая	24
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Григорий Казакевич

Развилки истории. Развилки судеб

© Г. И. Казакевич, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

* * *

Предисловие

Собирать свои произведения разных лет – преинтереснейшее занятие! Вспоминать позабытое, видеть, что меняется, что постоянно, дописывать недописанное, но так ждущее завершения!.. Не подведение итогов – есть ещё многое и многое, не вошедшее в сборник, сделанное и неслеланное – так что, надеюсь, не конец, а начало!.. Было бы время дано...

Название сборника. Выбор непрост. Хочется, чтобы оно придавало книге единство, цементировало её. Объединяющие идеи разные. Одна из них – ключевые моменты, определяющие судьбу – мира, народа, человека – и принятие основополагающего решения в эти моменты. Соответственно, название – «Развилки истории. Развилки судеб». В качестве развилки названия можно указать вариант, отражающий другую объединяющую идею. «Титаны и Тартар». От борьбы титанов с богами в открывающем книгу рассказе – к другим персонажам, несогласным с установленным миропорядком, проявляющим титанические усилия для его изменения. Чаще – терпящих поражение, но иногда побеждающих.

Метод – во многих случаях – доведение до предела. Математика достигла успеха, перейдя к бесконечно малым и бесконечно большим, – и я стараюсь исследовать предельные случаи... Проблема жизни и смерти. Что с большим основанием можно назвать предельным?... И другие проблемы предельны. Выбор – с осознанием минусов каждого варианта – и с принятием кары – внешней и внутренней... Стремление к невозможному – то ли поднимающее выше небес, то ли швыряющее в пропасть. И неведом итог... Путь – достойный, но осуждаемый многими, а частично – и самим собой! – и готовность идти сквозь бросаемые камни. Милосердие – но выходящее за принятые обществом границы. Любовь и уважение, встающие на защиту, невзирая на внутреннюю боль. Возмездие – и отказ от возмездия. Познание – и цена познания.

Произведения перекликаются между собой – по героям, по темам. Ну что же: многосторонний анализ проблем, хор, где разные голоса то вторят друг другу, то вступают в борьбу. В этом – плюсы и минусы сборника: можно заметить взаимную связь, усиление – а можно сказать: «Повторяется автор». Но ведь и жизнь повторяется. Разные эпохи, страны – а река времён-то одна!.. Хотя с этим можно поспорить. Но страх смерти – один. И стремление к невозможному. И проблема выбора. И не случайно из эпохи в эпоху – о чём в сборнике тоже написано – многие властители, стремясь к расширению держав, стремились к достижению бессмертия.

Сборник. Разные персонажи: Александр Македонский – и медсестра Великой Отечественной войны; кот, рвущийся к возлюбленной через все преграды, – и человек, рисующий ёжиков на готовом растаять снегу; флотоводец Чжэн Хэ – и улитка, ползущая через асфальтовую дорогу; кентавр Хирон – и мастер-кукольник, в разорённом городе дарящий детям сказку; человек, борющийся с Богом и пытающийся создать Бога, – и человек, наблюдающий, как уничтожают статую бога... И другие персонажи. Желаящий прочтёт.

Река времён... Плывущий меняется. Восприятие, стиль... При чтении старого возникает искушение изменить. Где-то ему поддаёшься, где-то нет. Чаще – нет. Интересно опубликовать вместе старый вариант и новый. Но это – для будущих изданий.

Составление сборника – и синтез, и анализ. В связи с этим – замечание об эссе про Печорина. На первый взгляд, оно чужеродно сборнику и попало в него по случайной причине. Но по сути – органичная часть. С одной стороны – интересен опыт разбора чужого творчества одновременно с написанием своих произведений и сведения их воедино. Происходит совмещение исследователя и объекта исследования. В результате возникает стереоскопическое изображение, становятся различимей внутренние механизмы, связь случайности и закономерности – и трудность их выявления. Видишь, как то, что со стороны может показаться чётко продуманным замыслом, на деле складывается из ряда случайностей, – и как единая воля сплавляет их в новую

неразделимую сущность. И понимаешь, как можешь заблуждаться, ища исходные слагаемые, – и как много интересного можно узнать в результате поиска.

С другой стороны, рассматриваемый персонаж соответствует обоим вариантам названия сборника – со своими силой и страхом, со своею борьбой, хоть, увы, направленной на разрушение и зло – и тем, что рассматриваются эпизоды, становящиеся решающими – и в его, и в чужих жизнях. И опять – тема рока и смерти. И ещё – переключка идей: лермонтовский герой размышляет о ничтожности людей перед небом – и о поддерживавшей их в отдалённые времена вере в участие неба к их жалким делам. А мои персонажи в ряде рассказов и сознают свою малость, и пытаются повлиять на весь мир. И, хоть, конечно, абсолютных целей им не добиться, – но порой удаётся достичь невозможного!

Мощь и мука

Волшебная музыка

Двум титанам – Я.Э. Голосовкеру и А.Н. Скрябину посвящается¹

Мальчик был маленький и смуглый. Чёрные глаза его внимательно смотрели на старика, но порой, когда тот отворачивался, выражение скуки проступало на лице слушающего, тут же вновь сменяясь заинтересованным и почтительным. И старческая рука касалась порой его плеча – тоже смуглая, но не настолько – скорей, загорелая, выдубленная солнцем и ветром. Жилистая, натруженная рука. Они сидели, в жалких лохмотьях, старик и мальчик, и лучи заходящего солнца озаряли их лица. День закончился. Ещё один день их жизни. Хотя можно ли назвать это жизнью? Старик поднял голову, и багровым стало лицо его в лучах заката, и замер мальчик: величием и мощью дышал облик старца – страшной, невиданной мощью. Воплощением Разрушителя, Шивы казался старик, и рухнул малыш перед ним на колени, и в страхе ждал смерти – для себя – и для мира. И когда коснулась его рука, подумал он: «Всё», – и покорно склонил голову. Но рука подняла его с колен – старческая рука, но сильная, и с насмешкой – печальной и усталой – взглянул на него старик. «Да, вот кому приходится рассказывать это. А, впрочем, и я-то чем лучше? Я, жалкий раб, выполняющий грязную работу, которой тут гнушаются все – кроме таких же презренных рабов, как и я – тех, кого за людей не считают. Я раб – и живу. Живу – к стыду своему. Я, Хранитель Пещеры. Последний. Бывший – ибо нет храма, и нет хранителя – есть лишь жалкий раб, носящий то же имя. Носивший. Теперь – лишь кличку. И всё же! Когда вспомнил я о Пещере – сам Гелиос содрогнулся и поглядел мне в глаза – Гелиос, сын которого чуть не сжёг мир – но что это перед тем, кто в Пещере? Гелиос, потерявший сына – и не только со страхом – с пониманием взглянул на меня – потерявшего храм. Не спасли они храм, эти боги! Давно уж забыли людские дела и не вмешиваются в них. И про Пещеру забыли. Лишь иногда вспоминают – как Гелиос сейчас – но лишь потому, что я вспомнил! Я – тот, кто помнит. Последний. Нет – есть ещё тот, кто в Пещере!» – Последний луч солнца ударил в лицо старика – страшного цвета. Цвета крови богов – если есть такой цвет. И закричал мальчик – пронзительно и неудержимо, но рука встряхнула его, и он затих. Взглянул вновь в лицо старика – с опаской, но и с любопытством – он не мог удержаться! – ну что же, лицо как лицо, лишь глаза одобрительно улыбаются. А вокруг шумели. Разбуженные рабы недовольно поднимали головы и ругались – на разных языках. Свист! Плеть обрушилась на плечо мальчика, ещё удар – и спина старика обагрилась кровью. Надсмотрщик пробормотал что-то недовольное, и, позёвывая, побрёл обратно в палатку. Вскоре рабы затихли. Тьма опустилась на землю, и в звёздных лучах поблёскивали лишь глаза – старика и мальчика. Говорящего и слушающего. И эллинская речь зазвучала под небом – чужим и недобрым.

«Было так: Крона низвергнули в Тартар, и Зевс-Громовержец поднялся над миром. С ним – боги Кронида. И титанов губили они – силой... и подлостью. Низвергая их в Тартар, превращая в чудовищ. И видело Небо, и видела Земля – но молчали. Но когда был погублен Хирон – мудрейший из мудрых – волею Зевса – подлостью Зевса – содрогнулось небо, сотряслась земля, и вышел титан – новый, могучий – в громе и молниях, в свете багрового солнца,

¹ Голосовкер Яков Эммануилович (1890–1967) – мыслитель, писатель. Автор «Сказаний о титанах», «Сказания о кентавре Хироне», откуда я взял образ кентавра Хирона и некоторые другие мотивы. Скрябин Александр Николаевич (1871/72–1915) – композитор. Автор «Поэмы огня», «Поэмы экстаза» и других произведений. Представлял мир, как мистерию, разрушение и возрождение в музыке. Попытался создать такую музыку. Умер от внезапной, непродолжительной, мучительной болезни.

закрытого пылью. Он вышел – громадный и страшный – из чрева Земли, и в земле было тело его, и стряхнул он с себя эту землю, и предстал перед Небом – во всей мощи своей и величии. Величии смерти – ибо смертью дышал его облик – в гнев рождён он Землёю и в скорби, сыном Гнева был он, порождением Скорби. Разрушителем. И окутала туча Олимп. А в туче той – боги. Как дети, столпились они вокруг Зевса, дрожащие и бессильные, и жались к нему, и шептали: “Спаси нас, великий, спаси!” И молнии Зевса ударили в тело титана – разящие, страшные, неотвратимые. И огонь их ожёг его тело. Не ожёг – лишь коснулся. И засмеялся титан – торжествующим смехом, и от смеха того содрогнулся Олимп, затрещали чертоги Зевса. И схватил титан молнии, и сломал их, как палки, и швырнул их обломки в богов – в страхе сжались бессмертные боги – лишь Афина спасла их эгидой – не страшны той и молнии Зевса.

Он стоял, и казалось, плечами упирается в небо – лишь казалось – высоко оно, небо Кронидов, лишь у края Земли, где висит оно низко, держит Атлас его – могучий Атлант – но куда и ему до титана, порождённого Геей от гнева! И стоял тот, громадный и мощный, и казалось – схватил бы он гору и швырнул её в тёмное небо – раскололось бы вдребезги небо, и осколки бы истыкали Землю страшным градом – хрустальным и жгучим, распоров её плоть до Аида – до скопления теней безгласных – и помчались бы тени на землю, и кружились бы в вихре безмолвном. И упёрся руками он в гору, и схватил, и вознёс над собою – страшный треск раздираемой плоти взрезал воздух – страдающей плоти – плоти Геи. Разверстая рана наполнялась кровью земною – раскалённой кипящею лавой, и кричала Земля, содрогаясь, и кричали могучие боги, с лютым страхом смотря на титана. И титан засмеялся, громадный – торжествующим смехом титанским – и ударил горою об землю – и до неба взлетели осколки, и пробили его, и умчались – в бездну мрака, в неведомый Хаос. От удара Земля раскололась – чёрной ямой, и трещиной узкой добежала до Тартара яма, и титаны увидели Солнце – тонкий луч, заструившийся в Тартар. Он смеялся – громадный и мощный – смехом смерти и смехом расплаты, и из Тартара хохот титанов раздавался, могучему вторя!»

Старик замер. Он увлёкся. Ритм речи захватил его, и величиём дышали рождённые образы – его мыслью. Его памятью. И увлёкся он – на мгновение, но повысил он голос – стал рассказывать так, как должно это рассказывать. И услышал звук своего голоса – и испугался. Он оглядывался вокруг – боязливо и жалко – но на этот раз всё обошлось. Лишь один раб недовольно поднял голову, и вновь опустил, и забылся в тяжёлом сне. Рабском сне. Старик успокоился и поглядел на мальчика. И увидел его внимательные глаза – тот вовремя сбросил дремоту, навеянную ритмичной речью, и сейчас всем видом своим выказывал интерес и внимание. Старик был единственный защитник его в этом мире – старый, но ещё крепкий и обученный бою – и не хотел он лишиться защитника, и слушал речь на почти непонятном ему языке.

И в небо взглянул старик. Тёмным было оно, это небо. Но были участки темнее. Несколько тучек висело на небе – небольших, но чернее угля они были. Чернее сажи. И казалось, что небо пробито, и это дыры – в Хаос. А за ними – далеко, на горизонте – мгла. Беспросветная мгла. Пристально посмотрел туда старик, потом повернулся к мальчику и продолжил рассказ – тихо, почти шепотом.

«И снова ударили молнии Зевса, и огненный вихрь охватил тело титана. Охватил – и погас. И даже не обернулся титан. К небу поднял он голову, и лучи Гелиоса-Солнца отразились в глазах его – и погасли. Устрашённое Солнце укрылось за тучей. Но ярче Солнца сияли глаза титана – светом смерти. Последним светом. Укрыться бы от него – но некуда. Рука. Поднялась она – медленно, страшно – и застыла над миром, казалось, готовая рухнуть и смять – всё. Навсегда. И замер мир. И боги застыли. И Гея. И даже титаны замолкли – в Тартаре, в мраке. И тогда он сказал. Одно слово. Простое. Обычное. Доброе. Но страшнее всего было то слово – в его устах. “Музыка!” – так сказал он и засмеялся, и от смеха того задрожала Земля. И Океан – древний, великий. И волна ударила в берег – горою – в гору – и увлекла её за собою.

Две горы возвышались над морем – каменная и водяная – ни одной не осталось, лишь рана заполнялась кипящею лавой. Но никто не заметил этого – даже Гея. Все смотрели на титана и ждали. Смерти. Бессмертные. Они знали. Это слово – их смерть. Гибель мира. Разрушитель он был, дитя Скорби и Гнева, и музыка его – музыка смерти. Да, бессмертные знали. В музыке мир возник из Хаоса – в музыке канет туда. Снова. Навеки. Вновь послышался голос титана – громовыми раскатами с неба – без молний, но страшнее, чем молнии Зевса. “Небо, слышишь меня? Земля, слышишь? Я рождён для гибели мира. Гея в скорби родила и муках моё тело, а Гнев дал мне душу. Я Великую Музыку знаю, от которой обрушатся своды – своды неба, и в тело земное погрузятся, и чёрную пылью всё развеется в Хаос бездонный. Мать-Земля! Мои братья – титаны! Вы – согласны ли с гибелью мира? Вы – титаны, что сброшены в Тартар, ты, Земля, что лишилась Хирона, величайшего мудростью мужа? Жить ли миру, объятому злобой, или кануть во прах – говорите! Коль ударю по струнам я лиры – той, чьим остовом Липа Филюра, чьими струнами – жилы титанов, заточённых во Тартаре, станут – зазвучит тогда музыка смерти, всё погибнет – лишь тени умерших, что в Аиде скитаются глухо, будут в Хаосе в вихрях метаться, не имея ни жизни, ни смерти. Ну, решайтесь, титаны, скорее, говорите титаново слово! Коли “да” – мир расстанется с жизнью, коли “нет” – тогда я буду думать”.

Он стоял, нависая над миром всей громадой титанова тела – угрожающей, страшной, смертельной – и дрожала Земля, но сказала: “Да” – хоть голос её прерывался – содрогалось тело земное – но сказала, потом повторила: “Да” – и в страхе заплакали боги. И к титанам титан обратился, и услышал он голос титанов – “Да” – сказали титаны, и небо сотряслось в ожидании смерти.

“Нет” – не голос – тень голоса. Точней – голос тени. Тихий был голос, неслышный – но слышали боги. И Земля. И титаны. И взглянули – в Аид. Мрак, и холод, и тени – кружатся в бессмысленной пляске. А в центре – пятно. Тень. Неподвижная глыба – мрака. Четыре ноги – но голова человечья. Золотилось тело Хирона под лучами Гелия-Солнца – раньше. Теперь глыбой мрака возвышалось оно под землёю – в Аиде – черней, чем Аид. И вновь повторил Хирон: “Нет”. И тогда содрогнулся Олимп, и титан взглянул на богов, и Гея – а так уж забыли они о богах – перед гибелью мира. На коленях стояли боги, и головы их были склонённые, и смотрел в Аид Зевс – на Хирона. И прощенья просил. Так познали боги раскаянье.

Кто слышит голос тени? Никто. Но этот голос слышали все. И склонился титан перед тенью, Разрушитель, он встал на колени и почтил он поклоном Хирона. И сказал он, печально и твёрдо: “Ты прощаешь, но я не прощаю. Мать-Земля не прощает, титаны, Крон великий – и я не прощаю. И за это молю о прощенье – у тебя, добровольно ушедший, у тебя, подаривший бессмертье и сошедший в Аид – но не мстящий – я, сын Гнева, молю о прощенье – я, лишённый прощенья дара, пред тобою, мудрейший, склоняюсь – но твою я не выполняю просьбу. И за это я буду наказан – сам себя покараю я смертью, и не жду от тебя я прощенья, и умру непрощённый – вовеки”. Так сказал он, и снова над миром он вознёсся громадою тела и простёр свои мощные руки. Треск раздался внезапно и скрежет – заскрипели громадные корни и могучая старая липа стала медленно двигаться с места. И не липа то – Липа Филюра – мать кентавра Хирона. Титана.

Да, так оно было, – старик вытер пот со лба и продолжал. – Камни и комья земли осыпались с корней, и трещало её старое тело, но шагнула она к исполину, и легла у его ног, и гнутья стала её деревянная плоть – силой скорби и гнева – ей, бессмертной, потерявшей бессмертного сына – не нужна больше жизнь – ни своя, ни мира, где властвуют боги – беспощадные боги Крониды. И согнулась она в виде лиры, и громадный схватил её в руки, и поднял её к небу Кронидов – содрогнулось в отчаянии небо. “Струны! – крикнул титан. – Дайте струны!” – и услышал из Тартара отклик: “Наши жилы тебе будут струны!” – заточённые в Тартар титаны, плоть свою раздирая руками, вырывали титановы жилы. Боль терзала тела их, и в муках содрогались громадные мышцы, искажённые ж лица титанов тьма, собой заполнявшая Тартар, милосердно

скрывала от мира. Так рождались волшебные струны – в содроганье титановой плоти – струны смерти для гибельной лиры – и кричали титаны от боли, кровь стекала по коже бессмертных, клочья мяса висели на жилах, а из глаз их струилися слёзы – хоть не плакали раньше титаны. А могучий кричал: “Дайте струны!” – грохотал его голос под небом, и расширилась трещина в Тартар. Не расширилась – страшным усилием, напрягая огромные мышцы, Крон – отец и богов, и титанов – эту трещину в Тартар раздвинул и вскричал: “Ну, скорей же, бросайте!” – не вскричал – прохрипел – вздулись жилы, что-то хрустнуло в теле титана, и багровою пенистой лавой кровь помчалась из Кронова горла, но держал он, доколе тяжёлый, весь из жил окровавленных свитый, весь усеянный клочьями мяса, шар не бросили в небо титаны – в небо Тартара – в трещину в небе. Шар понёсся, подхваченный вихрем, и взлетел над поверхностью Геи, и распался на жилы – на струны, и легли эти струны на лиру – на могучую Липу Филюру. И тогда Крон обмяк и сомкнулись своды Тартара с треском и гулом – и зажали титановы руки! – и повис Крон над Тартара бездной – в темноте, истекающий кровью».

Старик стоял, и ветер развеивал его волосы. Он стоял, вдохновенный и мощный, и голос его разносился под небом – звучный голос, такой, каким должно читать о великом. И слушало Небо, и слушала Земля, и слушали боги. Он читал, и звёздный свет озарял его тело. И лицо – титана. Не титана – творца титанов. Озарял. Но не свет – половина света. Туча – тяжёлая, низкая – медленно ползла по небу, заглатывая его, а за ней – мрак. Кромешный. Бездонный. Беспощадный. Но старик говорил. Он не видел ни тучи, ни неба – ни людей. А люди были. Да, не только боги слушали его речь – боги, застывшие в молчании – но и люди. Рабы. Они столпились вокруг, разбуженные и недовольные, и злобой дышали их лица. А перед ними – старик, кричащий бессмысленные слова – кто здесь знал язык эллинов? И они стояли, толпой, плотной и мрачной, и всё туже сжималось кольцо, а в центре – старик. Не видящий ничего. Говорящий с тайнами мира. А вокруг – толпа. Тяжёлое, нечистое дыхание. Сопенье и злоба. К этому старику, разбудившему их, стоящему здесь, как свободный, как жрец – он, такой же раб, как и они. На землю – сбить, и ногами – в содрогаящееся тело, в живот, в глаза, с хрустом и кровью! Ну! Но они не смели. Многие знали тяжёлые кулаки старика, и следы их хранили на лицах и ребрах. И они стояли. Но вдруг – движение. Толпа зашевелилась. Какое-то тело проходило через неё – круглое, на коротких ножках. И перед ним расступались – и снова смыкались сзади. Удар! Второй! Третий! Хлыст впивался в лицо и плечи, рассекал кожу и со свистом впивался опять, и вновь поднимался, а за ним – следы. Крови. Рабства. А надсмотрщик стервенел – всё больше и больше. Его разбудил – этот старый козёл – его, страдавшего от бессонницы и только сумевшего задремать! – и он бил, вымещая всё зло, и отбросил хлыст, и кулаками – в живот, в лицо. Точнее, нет – лица он не доставал, и короткие ручки его били в воздух – но старик сам нагнулся к нему, а потом опустил на землю – сам – чтоб тому было удобней. Хрясть! Хрясть! Крепкие сапоги били в ребра, и жирненькое тело надсмотрщика колыхалось в такт ударам. Хрясть! Надсмотрщик выругался – он задел мозоль на пальце, и, прихрамывая, пошёл обратно – в палатку, но перед этим склонился к лицу старика и плюнул – густо и липко – прямо в глаза. И ушёл – вновь пытаться заснуть. Старик медленно приподнялся, вытер лицо. Обвёл взглядом рабов. Те злорадно хихикали, но, уловив его взгляд, быстро, скрывая лица, стали расходиться. Нехороший был взгляд, запоминающий. Они разошлись. Остался лишь мальчик, но и он сидел в стороне, не решаясь приблизиться. И тогда старик заплакал. Не от боли. Беззвучно и горько – и незаметно. Незачем людям видеть его слёзы. И люди не видели. Лишь небо видело. И земля. И туча.

...И время. И мальчик почувствовал время – то, когда надо подойти. Время слёз кончилось, и он подошёл к старику и ласково коснулся его плеча. Старик обернулся, благодарно взглянул на него, пробормотал: «Вот так-то, мой мальчик. И сила покоряется власти. И становится жалкой, ничтожной. Ненужной – никому. Но историю всё-таки я тебе дорасскажу! Слушай же – самую великую историю, которую рассказывает самый презренный раб. Слушай.

Исполин оглядел свою лиру – и ударил рукою по струнам – по титановым жилам кровавым, и мир замер, захваченный звуком – звуком музыки грозной, последней.

Но нет, не от страха мир застыл – от восторга. Нежной была эта музыка и прекрасной – кто мог думать, что жилы, в муках вырванные из живого тела, жилы, сами живые и плачущие – кровью – способны издавать эти звуки? Кто? Кто мог так думать? А звуки лились – звуки рождения мира, звуки света и радости – и вся жизнь на Земле слушала эти звуки. Выползали звери из нор, и птицы – застывали на лету и не падали, замороженные звуками чуда – чудозвуками. Всё нежнее играла лира, и мир живой раскрывался ей – как цветок перед солнцем. И деревья качали ветвями, и зелёные листья их шелестели в такт музыке, а на ветках – дриады. В сладостных звуках купались они, и девичьи тела их, казалось, струились лучами – нежными и прекрасными, как мечты. И затихла Земля – мать живого, даже о боли своей позабыла она, о ранах – всем телом своим отдалась она звукам – звукам жизни и света. Но она знала. И бессмертные знали. Боги. Титаны. Это – знание бессмертных – о музыке смерти. И они, внимая сладостным звукам, ждали – конца. Но, даже зная, – забыли о нём – захватили их звуки. И внимали им боги, внимали титаны, забывая о смерти. И казалось им, что бессмертье своё они б отдали за мгновения эти.

“Нет!” – и вновь голос тени – чуть слышный – перекрыл на мгновенье все звуки. Чёрной глыбой возвышался Хирон здесь, в Аиде, среди восторженных теней – да, даже на лицах теней был восторг, хоть лиц-то и не было. Но лик Хирона словно чей-то резец высек из мрака – лик горя и скорби. По миру. Миру, в котором он больше не жил – он, тень в Аиде. Миру, который хотел он спасти – но не мог, ибо кто слушает голос тени? И слёзы стекали из глаз Хирона, и не стыдился он их, этих слёз – не за себя они были – за мир.

И на мгновенье умолкла лира, и все глаза устремились в Аид – на Хирона. Но лишь на мгновенье. Вновь ударил по струнам титан, и, захвачены звуком, отвернулись глаза от Хирона, и прекрасная музыка снова разлилась по Земле обречённой. И вот – сменился ритм, угрожающим стал и тревожным. И в норы забились звери, и завывание львов и волков – тоскливое, безнадежное – вторглось в музыку. И уже не качались на ветках дриады – в древесные тела забивались они, в самую глубь, и дрожали от страха. И камнем падали птицы с небес – птичий град бил о землю – и плакали птицы.

А титан возвышался, могучий, и гудели титановы жилы – всё грозней и грозней били звуки, и Земля сотрясалась от боли, и кричала, и страшные вихри вырывались из бездны глубокой – Бездны Вихрей под Тартаром тёмным – бездны той, где скрываются корни всего сущего – мощные корни. И Аид сотрясался, и Тартар, и, смешавшись в кровавую массу, извивались во мраке титаны, и кричали, и вихри кружили, и сквозь щели ударили в небо – прямо в ноздри коней Гелиоса. Задрожали могучие кони, повернули – и Солнце помчалось вспять, а вихри во мраке хлестали – по богам, по земле, по титанам – всё кружилось и билось, а лира всё грозней и грознее звучала, и Земля, содрогаясь, рыдала. “Нет!” – кричали титаны, и Гея “Нет” кричала – но их он не слушал – он играл, и титановы жилы, извиваясь от боли, кричали: “Нет!” – и всё же играли послушно – все кричали – один был безмолвен.

Да. Один. Хирон. Вихри били во мраке Аида, и метались несчастные тени – среди тьмы и сплетения вихрей. Но недвижная глыба стояла во мраке – чернее, чем мрак. Хирон. Он стоял – неподвижно и молча. Всё было сказано. Теперь – лишь ждать. Конца. Смерти. Не было горя в его лице, не было скорби. Лишь спокойствие и достоинство. Величие – перед смертью. Он стоял – чёрной глыбой. Тень. Всего лишь тень. Но вихри не смели коснуться его. Не смели. Пока – не смели.

Чем всё кончилось, спрашиваешь ты?» – хотя мальчик ни о чём не спрашивал. «Чем кончилось? Предательством, разумеется. Гее захотелось жить. И она предала своего сына – как предавала и Урана, и Крона. Мать-Земля! И разверзлась пещера в её недрах – поглубже, чем Тартар – и туда провалился могучий, и сомкнулись тяжёлые своды. Он играл – и во мраке

подземном, и гудели титановы жилы – он играл, он играл – но напрасно. Злые мхи покрывали пещеру – злые мхи, пожиравшие звуки – и играл он, и струны гудели – но тонули все звуки в пещере – в моховом, безнадёжном покрове.

На Земле ж всё затихло, и Солнце вновь вернулось, и боги обратно на Олимп поднялись, и закрылись дыры в небе и чёрные вихри возвратились в кипящую бездну, и расщелины в Гее закрылись – всё вернулось обратно на круги, по которым течёт и поныне. Всё вернулось, и тени в Аиде вновь кружились толпою безгласной – лишь одна не кружилась – стояла – чёрной тени склонённое тело возвышалось во мраке Аида. То склонился Хирон непреклонный, долг последний воздав исполнину.

Вот так-то, мой мальчик. Предательство. Вот чем спасён наш мир. Вот почему мы живы. И это – благо. Но всё же, это – предательство! Вот почему мир таков, как он есть – мир, спасённый предательством. Пока – спасённый. Ибо есть та Пещера, в которой, в вечном мраке подземного мира, держат лиру могучие руки. Бьёт по струнам титан заточённый, порождение Геи и Гнева, и рождает титановы жилы звуки смерти, последние звуки – но глотают их своды Пещеры своим губчатым мховым покровом. И голодные мхи просят звуков, и впиваются в звуки губами – мириадами губ, жадно пьющих силу звука – и музыка гаснет, а титан всё играет во мраке, он играет, и струны трепещут, он играет веками – неслышный – никому – ни богам, ни титанам – только мхам, только мхам многогубым. Вот так. И всё вернулось на круги своя. И всё забыто – ибо боги хотели забыть. И осталась лишь бездна. Бездна Тартара, а над ней – Крон, висящий на руках, сжатых тяжестью сводов – сводов Тартара. Крон, истекающий кровью – навечно. Бездна. Бездна Пещеры, и титан, играющий смерть. Бездна Аида. И Хирон. Тень Хирона. И я – помнящий. Ибо мхам нужна пища. Пища памяти. И потому был создан храм. Кем – не знаю. Никто не знает. Быть может, самую Геей – рождён, как титаны. Храм, где помнят. Нет, не роскошный храм. Так, небольшое святилище, жрец, пара учеников. Говорят, первый жрец был рождён вместе с храмом – но не бессмертным, а смертным. Не рождала больше Гея бессмертных. И он умер. Остальные ж жрецы – просто люди. Носители памяти. Я – последний. Ты – вряд ли, – старик усмехнулся, – ведь ты ж вряд ли понимаешь то, что я рассказал – чужд для тебя язык эллинов, а только на нём можно это сказать. Я пытался тебя научить – что-то ты знаешь – но так мало! Да и зачем тебе это? Рабу – такому же, как и я. Ты слушаешь – тебе одиноко, и нужен защитник. А ведь скучно, наверно, слушать рассказ на чужом, непонятном тебе языке? Ой, как скучно! Ну-ну, не смущайся, я всё понимаю. И всё же – есть в тебе жажда познания – небольшая, но есть. Вот почему я выбрал тебя, и что-то тебе говорю. Ты расскажешь другим – что-то, что поймёшь и запомнишь. Память. Искажённая, но память – пища мхам. Вот что останется. Мхи. Не пускают они в мир звуки смерти. Но ослабнут они – что же будет? Да-а... Но и сейчас – думаю я, порой рождается человек, способный услышать – не звуки эти – тень звуков, и, быть может, непослушными руками пытается он внести их в мир – зачем? – не знаю – повинуюсь красе их и мощи? И его губят боги – ибо тогда они вспоминают – боги, те, что оставили мир, оставили храм. В Фивах он был, этот храм – вернее, Фивы были построены неподалёку от него. А потом пришёл Александр. И нет Фив. И нет храма. А я – я не умер, как дриада со смертью дерева. Я – стал рабом». И опять усмехнулся старик – горько и жалко: «Да, не правда ль, забавно, мой мальчик: я, раб, дошёл туда, куда не сумел дойти Великий Александр. Как там говорил какой-то из ваших мудрецов – “не стремящийся достигнет больше стремящегося”. Вот я и достиг. Ему б так достигнуть!»

Старик замолчал. Он сидел, глядя непонятно куда. Молчал и мальчик. И не блестели глаза их при свете звёзд – ибо света не было. Туча закрыла всё небо – от края до края – и не было неба – лишь туча. Не туча – мрак. Беспросветный. Кромешный. И был ли старик, был ли мальчик – кто знает? Лишь тьма. Но не скажет. Ибо некому.

21.6.1993, 14–29.4.1995

Опубликовано: «Книжное обозрение», № 32, 12 августа 1997 г., с. 16–17.

Распятие

Крест стоял над землёй. Полированный чёрный гранит, и распятый – на нём. Крест. Надгробный. Последний. Но не был он мрачен, тот крест. Отражалось в нём солнце, и распятый – страдающий, но покорный, предавшийся Божьей воле, – казалось, давал надежду – на то, что есть что-то за гробом, что смерть – не конец. И надпись: «Да будет воля твоя» – и вера в доброту этой воли. И я, атеист, смотрел на распятие – и светлела душа моя здесь, на кладбище, среди человеческих останков, придавленных глыбами камня, – надежда вселялась в неё. На жизнь вечную. Я смотрел, и, наверное, лицо моё приняло блаженное и светлое – столь несвойственное ему выражение – но ненадолго. Слова прервали его – чужие слова. «Вера и надежда, не так ли?» – голос принадлежал человеку, вставшему рядом со мной и тоже смотревшему на распятие. Кладбище – не место для разговоров. Здесь нужно ходить и молчать, и думать о вечном. Я хотел буркнуть что-то в ответ и уйти, но в облике этого человека было что-то значительное, что-то, удержавшее меня от ухода. «Я видел, как вы ходили меж мёртвыми, и видел лицо ваше здесь, у распятия. Да, скульптор сумел. И имя его, наверно, забыто, и ничего он, быть может, больше не создал – так, рядовой резчик гранита – но здесь он сумел. Смиренно принять Божью волю, не так ли? Не роптать, как Иов? Красиво, конечно, всё это, но вы, как я вижу, не очень-то склонны к такому. Я тоже. Вот что! Расскажу я вам одну историю. Мы встретились, сейчас разойдёмся и вряд ли когда-нибудь увидимся, а история – останется. И она того стоит. Давайте, присядем на скамейку и побеседуем, если у вас есть время». Не выношу я бродячих проповедников, пристающих к людям, – вежливые они, но назойливые – не отвяжешься. Я уж привык отказывать им – необходимо, но твёрдо. Но этот человек не походил на проповедника, и я решил его выслушать. Будет неинтересно – всегда можно взглянуть на часы и уйти. Часы? Забыл я о них – скоро, совсем скоро. И ночью казался мне день – мрачнее, чем ночь. Вот что он говорил:

«В Греции это было. Несколько лет назад. Я там служил переводчиком, и меня срочно вызвали для участия в каких-то переговорах. Ночь, непогода, горный перевал. Мотор заглох. Тьма, молнии, ливень – в лицо, вокруг – никого. Ни огонька, ни луча – только блеск молний и свет фар моего автомобиля. Других – нет. Кто поедет в подобную погоду, кроме такого идиота, как я? Я ждал и смотрел в темноту. Не смотреть надо было – слушать. Звуки обрушились на меня, перекрывая шум ливня и ветра, – звуки боли и муки, страдания и мощи – мощи духа – такой, что я вышел из машины, и стоял, и всем телом их впитывал – телом, промокшим, продрогшим, но не замечавшим этого. Всё сильнее и сильнее они били, те звуки – словно горы кричали от боли, словно небу грозили они – а в ответ били громы, заглушая те звуки, – но не в силах их заглушить. И сошлись они в битве – земля и небо, и стоял я меж ними – один – человек – неважно, кто и откуда, – человек – тот, кто слышал их битву, кто стоял, не склонившись пред ними.

Вдруг кто-то тронул меня за локоть. Честно скажу вам – ощущение было не из приятных. Ночь, тьма, пустая дорога – и музыка, страшная и захватывающая, – и вдруг – прикосновение. Я обернулся – мгновенно и резко – и, видимо, ужас и злоба исказили моё лицо – но тут же исчезли, едва я увидел коснувшегося. В капюшоне он был, с зонтом, не защищавшим от ливня, и луч фонаря освещал его лик – да, не лицо, а лик. Нет, не благость была в нём, а мудрость – и мука. Где-то там, в глубине его глаз – и отнюдь не легко различимая – я бы не понял, если бы не музыка, если бы не испуг, обостривший моё восприятие. Мука – и не была она человеческой. Казалось, всё человечье пред ней – ничто, рябь на поверхности лужи, игры детей – несмыслённых и малых. Лишь на мгновение взоры наши соприкоснулись – и ещё сильнее навалилась на меня музыка – ибо взгляд его был ею наполнен – и более чем наполнен. Он знал – её суть. И был её сутью. Он жестом пригласил меня за собой – и мы пошли. Автомобиль – на дороге – жалкая жестяная коробка среди схватки стихий. Мы шли в темноте неизвестно куда – лишь

фонарик в его руке был путеводной звездой. Мы шли, а холодная тьма сотрясалась от звуков – всё мощней они были и громче – видимо, мы подходили к источнику их. Внезапно он остановился и отодвинул дверь, с виду неотличимую от камня. Мы вошли. Свет разливался вокруг, и тепло охватило меня. Но не тишина. Звуки били, давя своей мощью, всё грознее – и безысходней. Не знаю, но думаю – так должны плакать титаны, заточённые в Тартар, – могучие, но бессильные – на века. Навеки. Не зря ведь всё это – в Греции. А звуки гремели – грозней и грозней – и нельзя было их выносить – на колени, и сжаться, и плакать – но стоял я – пока. И в тот миг, когда достигли они предела, когда, казалось, вот-вот столкнутся Земля и небо – и я готов был упасть и кататься по полу, – звуки прервались. Внезапно. Мгновенно. Были – исчезли. Я сел, вытер пот со лба. Человек – теперь я видел, что это священник, – внимательно смотрел на меня. Бесстрастно, но испытующе. И кажется, я ему понравился. Не скрою, мне это было приятно, хотя вроде бы – какой-то провинциальный священник, сегодня увидел – завтра уеду и никогда и не вспомню о нём. Но не был он обычным священником! И эти звуки – ведь музыка шла отсюда, из храма – а здесь был храм – похоже, всё это было монастырём. Я люблю музыку и неплохо знаю – но такой не встречал. Ни по мощи, ни по страданию, ни по глубине. А теперь – было тихо. Лишь шум за стеной – ливень. Гроза – но слабенькая. Не с кем ей состязаться по силе – умолкла музыка, и затихла гроза – одинокая – до скончания своего, уж совсем недалёкого.

Отдышавшись, я спросил у священника – чья это музыка? “Одного неизвестного композитора”, – ответил он, и, не выказывая желания продолжить беседу, стал греть мне чай, нашёл сухую одежду. В тепле меня разморило, и я бы, пожалуй, уснул, но мысль терзала меня – не мысль – музыка. Та, что я слышал, та, подобной какой – не бывает. Не может быть. Но она была, и я её слышал, и должен узнать, чья она, откуда, почему! Должен! Услышать её ещё – не знаю. Не сейчас. Но знать, что могу ещё раз услышать! Что не исчезнет бесследно она для меня! И, наверное, лицо моё отразило те мысли – и священник увидел. Он смотрел на меня, спокойно и испытующе, потом встал, зажёл фонарь и пригласил меня за собой. В дверь. В темноту. Мрак был за дверью – подземный, крошечный – но луч разгонял этот мрак – впереди. Сзади – смыкалось пространство, и мрак надвигался на плечи – всею тяжестью каменных сводов, давил, выжимая все силы, – хоть ничто не касалось плоти моей, – но давил этот мрак – необычный, тяжёлый – и лишь луч впереди оставлял мне надежду. И вдруг он исчез. Тьма, своды, камень – сырой и покрытый плесенью – я метался, кричал, а тьма была эхом, и эхо кричало – моим голосом, искажённым, усиленным, страшным – голосом тьмы и отчаянья, голосом мрака и смерти – и метался я среди эха – и в стены! В стены! В стены! Выхода не было. Стены вокруг и тьма. Замуровали! Зачем, почему – непонятно, но сгнию я здесь, среди мрака, и мокрицы будут ползать по моему лицу – столь же холодному и склизкому, как они. Вечность или мгновение – не знаю, сколько то длилось – не знаю! Если мгновение – то для меня оно стало вечностью. Луч! Он ударил из тьмы, и ужас исчез. Скрылся – во мраке, затаился, выжидая. Извиняющийся голос священника: “Простите, я не подумал, что поворот закроет свет. Простите великодушно, прошу вас!” Не было насмешки в его лице, и голос – искренен и заботлив: “Я понимаю, каково это – очутиться во мраке, под землёй, в неизвестном монастыре. Надеюсь, с вами ничего не случилось?” – он хотел померить мне пульс – но это уж слишком. Я – здоровый и, вроде, не очень трусливый мужчина – и мне было стыдно за крик.

От стыда и от злости я что-то резко ответил ему. Он промолчал, повернулся и пошёл дальше – вниз. Да... а, а если б обиделся и исчез? Так вот – огонёк. Вниз он плыл, над ступенями – вниз, всё глубже и глубже, и руки сжимали светильник, и чёрною тенью шёл он – тот, кто знает дорогу – куда? В ад? – куда ещё может вести этот путь – лестница мрака! И тот, впереди, – Вергилий или сам Сатана? И мрак, всё темней и темнее, и стены, готовые рухнуть, сомкнуться – навеки. И я между ними – раздавленный, мёртвый. Или живой, ждущий смерти, молящий о ней. Но свет впереди был страшнее, чем мрак, – не знаю, почему я так думал, но шёл я за ним

– ибо некуда больше. Мы шли, а за нами – два чёрных. Тени. Изгибаясь, ползли по ступеням, реальной, чем мы, – ибо их это царство – теней.

Дверь. Кольцо из металла, рука – на него. Луч – вперёд, в пространство, во тьму, в крик и скрежет зубовой! Нет, в тишину – но кричали они и стонали – эти рты, эти лица – беззвучно и страшно, и плач тишины – громче любого крика. Лица. Каменные – ибо плоти не выдержать муки – такой. Невозможной. Безумной. Кто был их создатель? Кто? Кто обрёк их на муку? Ад был в душе его, и в аду этом корчились люди – тела их и лица – веками, во тьме, каменной плоти, тяжёлой и прочной – но рвущейся в клочья, в куски – от боли – рвущейся – но неподвижной. Луч – в глаза! Застывшие в муке, залитые влагой – слезами? – иль мне показалось? Свет метался по стенам, и стены кричали – разверстыми ртами, и крик их врбался мне в череп, и в стену вжимался я – в стену, а крик всё давил, и не было выхода! Не было! Не было! Вдруг тварь проскользнула в луче фонаря – жаба, мокрица – не знаю, но по глазу она проползала – по глазу, вылезшему из орбиты, глазу, застывшему в муке, – на лице, искажённом отчаяньем. И тогда меня вывернуло. Да, стыдно, да, грязно – но представьте – по глазу – и лапками, склизкими, холодными. И казалось мне, каменный глаз вздрогнул – гадливо, от омерзения, и капля скатилась с него – ну конечно, жаба смахнула. Нет! Слеза то была! Слеза! Я стоял, согнувшись, и гнусная масса лилась из меня, оскверняя храм – или ад. Если б священник убил меня – я б не сопротивлялся. Он был бы прав. Но он не убил.

Луч света лежал на лице его – удивленном лице. Не думал я, что можно его удивить. “Объясните”, – сказал он, и я объяснил. Удивление сменилось пониманием. Он подтолкнул меня к двери – ещё одной. Я задержался, обернулся. Он понял. “Там уберут”. Дверь повернулась. Чёрная ниша открылась в стене и снова закрылась – за нами. Чиркнула спичка. Мгновение – и колеблющееся пламя светильников озарило небольшую келью. Он выключил фонарь. Мы сидели – друг перед другом. Толща земли – над нами, толща времени – вокруг нас. Время. Текло оно здесь иль застыло? Я взглянул на часы – они стояли. Влага блестела на них – на стекле и, наверно, внутри. Время. Стены хранили его, и здесь оно было недвижно. И мы сидели – друг против друга – в свете живого огня – вне времени. Сейчас – или сто, двести, тысячу лет назад – я не знал, когда был основан монастырь, когда создана эта келья. Голос прервал мои мысли – голос того, кто напротив. “Ты слышал звуки. Ты видел лица. Что скажешь?” Что мог я сказать? Не было слов, достойных такого. Музыки. Ада. А может, и были, но знал их лишь тот, кто придумал всё это. Чьею мыслью и мукой рождены были звуки, рождены были лица – чтобы выразить малую долю той муки. И мысли. Но кто это мог быть? Кто? И я сказал то, что думал. Точнее, спросил: “Кто создал всё это? В чьих силах такое – ведь не в человеческих, и – простите, что я говорю это в храме, – не в Божьих. А в чьих – я не знаю”.

“Вот в чьих, – рука священника протянулась к стене, и палец указал на плиту – перед дверью – ещё одной дверью! – Здесь он лежит. Имя – стёрто. Забыто, стёрто – и с камня, и из памяти. Что осталось – ты видел. Не всё, но видел. И слышал – но тоже не всё. Я расскажу остальное – что знаю. Почему? Ты слушал музыку – так, как должно, – и потому я показал тебе это. И расскажу. Иначе бы – ты бы согрелся, переночевал здесь – и, уехав – ничего не увидев, ничего не узнав, – вскоре забыл бы об этом – ибо нечего было бы помнить. Теперь – не забудешь. Думаю – никогда. Увидевший это – не сможет забыть. Услышавший – тем более. Слушай. И пусть он ещё раз услышит”, – он махнул рукой в сторону захоронения – или двери?

“Когда это было – не знаю. Но уже после гонений диоклетиановых, и после того, как Константин признал Церковь. Признать-то признал – да только какую Церковь? Они ж сами не могли разобраться, кому поклоняться и как, – ариане, несториане, монофизиты – кого там только не было!” Я, разумеется, подумал: “Сам чёрт тут ногу сломит”, – и, конечно же, покраснел за подобную мысль в храме – но священник ничего не заметил – слава Богу, здесь было довольно темно – хотя Бога ли славят они в этом храме? И как бы в ответ мне он продолжал: “Были ереси и не ереси: кого признавали – становились отцами церкви, остальные – еретиками.

А кого и почему признавали? Политика, личные интересы, корысть, тщеславие – много причин. И учение, признанное в силу этих причин свыше тысячелетия назад истинным, считается таковым и по сей день. Или с добавлениями, возникшими из тех же побуждений”, – испытующий взгляд его упёрся в меня, а за взглядом – вопрос: “Ты не удивлён? Такие слова – и в храме?” – “Нет. После слышанного и виденного – нет”.

“Споры. Жестокие. Страшные. Беспощадные. Как поступали с противниками в те времена – думаю, уточнять не надо. Но споры шли. О соотношении божественного и человеческого в Христе. Спорили. Убивали друг друга. Что-то решили. Но от постановления собора домысл вряд ли становится истиной. И то, что я расскажу, – тоже не знаю, истина ли. Не знаю. Слышал ли ты о ереси Маркиона, что Бог Ветхого Завета – зол, Бог Нового – добр? Что разные это Боги? Не слышал – ну так я тебе сказал. Но тот, кто лежит под камнем, – рука его ткнула в плиту, за нею – тень, – тот говорил другое. Зло. Почему мир зол? Как спастись в этом мире? Есть ли спасение? Есть ли спаситель? Многие пытались ответить – разное. Но вот что ответил он – тихий, спокойный человек, не лезший в церковные дразги, не лезший в политику – сидевший себе мирно и думавший.

По образу и подобию своему создал Бог человека. По образу и подобию. А в чём главное свойство Бога? Что он – творец, создатель мира. И человек – творец – мира – внутри себя. И он – подобный Богу – хотел познать то, что создано Богом, – и творить подобное. И за это наказан. Смертью. Представляешь: бессмертный – смертью! И это – зло. Главное. Оправдывать Творца? Можно. Но знаете ли, – почему-то он порой переходил с “ты” на “вы” – ведь это просто подгонка под ответ. Вы знаете – точнее, хотите знать, что Бог добр, – и пытаетесь это доказать, даже исходя из злых его поступков, а когда не удаётся – ссылаетесь на непознаваемость Божьего промысла. А может, он и действительно непознаваем – но откуда ж вы знаете, что добр? Непознаваем? И за познание – смерть? Самому и потомкам – всем людям?

Да, так вот – пришёл Человек – так говорил тот, кто под камнем, – и сказал: “За познание – смерть? Нет! Познанием добуду я жизнь вечную – себе. И другим”. Так он решил. И так сделал. Мудрый был человек – быть может, равный Творцу – и нашёл тайну смерти. И воскресил мёртвого. Своей мыслью. Своим знанием. И люди пошли за ним. Бог дал им жизнь. И смерть. Тот же – бессмертие. Вернее – надежду. Вы ж помните миф – греческий, местный, можно сказать, – о богине, полюбившей смертного и выпросившей у богов для него бессмертие – но забывшей про молодость. И остался он – вечно стареющий – не человек – живая старость, ходячие – вернее, давно уж не ходячие – останки. Так вот – старость он ещё не сумел победить. Но хотел. И смог бы! Своей мыслью. Своим духом. И смерть – один раз воскресил он мёртвого – но это значит – нашёл он путь. Хотя бы начало пути. И вернул бы он людям бессмертие – то, что отнял у них Творец”.

“Послушай, – почему-то я тоже перешёл на “ты” – не от недостатка уважения – скорее наоборот; просто это соответствовало духу беседы – ведь даже к Богу в молитвах обращаются на “ты” – послушай, ведь это какая-то искажённая трактовка Христа?” – “Да, это другая трактовка. Какая из них искажена – не знаю. Ты ты слышал. Дослушай и эту. Он нарушил волю Творца. Тот дал людям смерть. Этот – бессмертие. Пытался дать. Творение восстало против творца. Против творца, убивающего это творение. О нет, тут тебе не Иов, бессильно жалующийся и ругающий Бога. Этот – борец. Тот, кто против воли Бога поставил – свою. Человек, по образу и подобию созданный, – и стал он подобен Богу. И Бог предстал перед ним – во всей мощи своей и величии, в вихрях и пламени, и гневен был облик его. Кто бы не дрогнул? Кто? Но этот стоял. Не склонившись. Страх был в сердце его, но стоял Человек – не склонившись перед Творцом”.

Я слушал, и, конечно, всё это было очень торжественно и возвышенно, – но один естественный вопрос вертелся у меня на языке – и я его задал: “А почему нельзя проще? При могуществе-то Бога? Камень, упавший на голову; тяжёлая и непродолжительная болезнь с –

увы, летальным исходом – мало ли, что можно сделать? Зачем эти дешёвые мелодраматические эффекты?” – “Убить может и зверь. Убить – не значит победить. И стоял Бог перед своим творением. И восхищался им. И видел Бог, что это хорошо. Но ненавидел его. Творение выше творца? Нет! И стояли они друг против друга – творение и творец, Бог и человек – Человек! Да, жалкий кусок плоти – перед Богом. Живым и могучим. Ты слышал музыку, видел грозу – и достойно стоял перед ними. Но что это всё перед Богом? Мощь неба, мощь грома, мощь музыки – пред Божьей мощью? И стоял Бог, в огне и величии – создатель, владыка, – но не пал Человек на колени. Человек – сын Человечий. И смотрел на Творца. Нет, не прямо – ярче солнца был облик владыки – и отводил он глаза. В силу слабости плоти – не духа! И Бог понимал. Что мог он сделать? Убить? Мы уже говорили, что нет. Но путь был. Испытания. Властью. Славой. Могуществом. – Ты слышал о них. Но тот сказал: “Нет!” – “Ещё бы, что это всё перед бессмертием?” – “Ты не понял – точнее, я не сказал. И при этом – бессмертие. Ему. Только ему. Реальное, а не то, что он, быть может, найдёт. Вот какой был выбор. И тот его сделал.

И вновь смотрел Бог на творение и восхищался им – вновь. И собой восхищался. По образу и подобию был человек – и значит, в Творце есть такое величие. В нём, в Боге. И понял Бог своё восхищение, и ужаснулся ему. Он, Бог, – восхищается творением больше, чем собой, – и собою – через творение! Он ставит творение выше себя! Гневом вспыхнули Божии очи – мгновенье – и испепелил бы он человека. Но нет! Не убить – победить он хотел, и ослабил он пламя очей, и вновь загредел его голос. Словом. Последним. Страшным. Выбор – вот что давал он. Тому. Человеку. Бессмертье – или смерть – в муках – сколь долгих – неведомо – быть может, и бесконечных – но знать он об этом не будет! Такой был выбор”. – “Но простите, где же тут выбор? Зачем ему выбирать смерть и муки?” – “Ты не дал мне закончить. Плата за муки – бессмертие людям. Всем – кроме него. Вот такой выбор”.

“Простите, всё это опять очень красиво и возвышенно, но всё-таки – можно же проще. Соблазнить его женщиной – ведь здесь нет никакого насилия – просто найти – или сотворить – такую, чтоб он не устоял, – это его свободный выбор! А дальше – размножится – детей кормить надо – когда он ещё научится воскрешать своих мертвецов, а кормить-то надо сейчас! Вот и всё испытание – и не надо никаких грандиозных картин, сверкания очами”. – “Да. Испытание бытом – страшная вещь, тем более, что и не воспринимается, как испытание. Просто затягивает – незаметно, тихо – глядь – и не выбраться. Не знаю – история об этом умалчивает – но думаю, что подобные испытания были. И он их преодолел. И стоял теперь перед Богом, и решал. За себя и за мир. ...И за Бога – да, и за Бога, как сейчас ты услышишь. И Бог дал ему время. Дал ночь – чтоб решить. Чтоб познал тот страх. И тот познал. Но выбор сделал – смерть! Да, он – Человек – отказался от вечности – ради смерти и муки – ради спасенья других. И Бог дал ему смерть – и муку – на кресте. И ждал мольбы о пощаде – но мольбы не было. Гвозди впивались в руки, и не было тела – лишь боль – и не давал ему Бог забытья! Не давал! Только боль – сгусток боли, раздирающей плоть, раздирающей мозг – безнадёжной, жестокой, лютой. И Бог смотрел на него. И восхищался им. И завидовал. Да, завидовал! Человек превзошел Бога! Тварь превзошла Творца! Он, всемогущий, бессмертный – отдал бы своё бессмертье? Сумел бы? Но Богом был он – могучим и гордым – и не мог допустить, чтоб творение превзошло его. И решил он принять смерть. И муку. Чтоб стать выше творенья! И его – в человеческом облике – водрузили на крест. И гвоздями – к кресту! Бога – казнь раба! И страдал он, и умер. И содрогнулся мир. И рухнул бы – в хаос и мрак – но нет!

Могуч был Творец, и на славу он создал творенье. И не зря говорил он, что это хорошо. Мир не рухнул – лишь рушился. Начал рушиться. Незаметно, тихо – но начал. Три дня это длилось – три дня смерти Бога. И вползали в мир силы хаоса, силы тьмы, и ангелы с огненными мечами отступали пред ними. Он умер – и всё же воскрес. Не волей своей – жаждой жизни. Сильнее она, чем воля. И стала она словом, а слово – Богом. Осмотрел он свой мир

– Воскресший – и увидел распятого. Человека – того. И предстал перед ним в своей мощи – перед ним, обречённым на муку и страдающим – на кресте. И снова – вопрос, и вновь – “нет”.

И устыдился Бог. Он умер из зависти – он, всемогущий, обрёкший мир на гибель – а этот – жалкий комочек плоти, скопище боли – пошёл на муку и смерть ради других. И стал выше Бога. Но признав, позавидовал Бог. Ещё сильнее! Он, прошедший сквозь смерть – жаждал славы. И получил её – взял. У того – распятого, беззащитного. Славу страдания. Славу смерти – за человечество. За людей. И люди славят Бога, искупившего смертью своей их грехи. А тот? Ввергнут во мрак, в скрежет зубовой, и висит там, распятый – годы, столетия. Вечность? – быть может. Не смеет Бог дать ему смерть. Не смеет!” – “Ну а сдержал Бог слово? Дал людям бессмертие?” – “Сам смотри. Хочешь – верь, как верят многие”. – “Ну а тот что сказал?” – я указал пальцем на плиту. “Тот? Что бессмертие будет – не по воле Бога. Против воли Его. Волей того, кто распят. Во мраке и муке стоит он, прибитый, и корчится тело его – если может. Но растёт его сила – сила духа. И сойдёт он однажды с креста, вырвет гвозди из рук, и зазвучит его голос во мраке: “Бог, держи своё слово!” И не посмеет Бог отказаться. Так оно будет. Так должно быть и должно”. – “А ты веришь в это?” – Станным был взгляд священника: “Не знаю. Но тот, – и вновь указал он на плиту, – верил. Тот, чья мощь духа была беспредельна, верил в другого – ещё более мощного. И, быть может, вера создала его – того, в кого верил”.

“Вы простите, – вновь задал я скептический вопрос – уж такой я человек – всё чрезмерно возвышенное вызывает у меня некоторый скептицизм, и порой – даже несколько нездоровый юмор, – я ничего плохого не хочу сказать о покойном – он действительно выдвинул весьма оригинальную концепцию, и образ этого распятого довольно мощен – быть может, тут влияние мифа о Прометее – не зря же всё это – в Греции – но это ещё не говорит о беспредельной мощи духа автора. И слабые люди создают порой мощные образы, грандиозные сцены – а потом ноют – от царапины или мелкой обиды”. – “От царапины, говоришь? Тихий он был человек, сидел и писал. И думал. И говорил – если спрашивали. Сам он не лез с разговорами. Но мыслей своих не скрывал! Опасно то было. Очень опасно. Но он не скрывал! Скрыть истину от тех, кто ищет? Нет! А говорить другим – необязательно. Но и среди ищущих есть доносчики – или их засылают под видом ищущих. На него донесли. Не сразу его схватили. Он был из известной семьи, и его просто попросили замолчать. Но молчать он не мог. И вопрошающим – говорил истину – как понимал ее. И тогда его взяли. Времена были жестокие, и с ним поступили ещё довольно гуманно”. – “Как же?” – “Сослали сюда, в эту обитель, правда, предварительно выколол глаза и отрезав язык”. – “Ничего себе, гуманно!” – “По тем временам – да. И представьте себе: мрак. Вы мгновение были во мраке – но сумели прочувствовать страх, ощутили всей кожей и сутью своей. А ему мрак – навек”. Тут я пристально взглянул на священника. Неужели специально оставил во тьме? Испытать? Подготовить?.. И уж что-то рвалось с языка – но заткнул себе рот. Здесь важны не священник, не я, а гигант, живший много столетий назад... А священник ответил на взгляд. Словно искра сверкнула в глазах – чёрно-красная искра – и слова показались ещё тяжелее. “Он во мраке. Его дух. Не смиренный! Говорить он не мог. Писать запретили – да и нечем. И сказано было: будет писать – отрубят и руки. Мрак. Сырость. Подземная келья. Не келья – пещера. Ты видел её”. – “Та, с лицами?” – “Да. И келья – вот эта. Здесь – жил. Там – творил. Это ему разрешили. И он, резца не державший в руках, – стал творцом. Мрак был в душе его, мрак был в глазах – и из мрака рождались фигуры – образы мрака. И рвались они, исполины, из тьмы, и страдание было в их лицах – тень страдания – его страдания. Они рвались, а тьма давила, и своды сжимали их плоть, и сырость впивалась в их лица – но рвались они в муке и ярости, и камень, казалось, поддавался их мощи. Но только казалось. И творил он, во тьме и безмолвии, не видя людей и не слыша их, – лишь чьи-то руки ставили хлеб и воду пред ним – но голоса не было. Всё мрачней и мрачней были эти фигуры, всё живей и живей становились они под резцом заточённого – страшной, неведомой силой дышали их лица – и мукой – ещё более страшной. И когда новый настоятель вошёл в пещеру – в страхе и гнев

он вышел наружу – и велел отнять у него резец. И замуровал пещеру. Но уничтожить – не посмел! А тот – уже старец. Что делать ему, лишённому жизни – того, что было жизнью его? Что? Лишённому света и речи, лишённому друга – резца, помогавшего творить. Остался лишь разум, лишь мысль, бьющаяся во тьме, – мысль – и мука. Но не впал он в безумие! Он творил! Он, никогда не писавший музыку, создал – ту, что ты слышал. Вернее – ты слышал лишь жалкую тень. Мрак был в душе его, мрак был в глазах, и руки лишились силы – но он творил, и мысль, заточённая в мраке, кричала, и крик – безнадёжный, беззвучный – сотрясал эти своды”.

Я невольно взглянул вверх – и казалось мне – своды дрожали, словно чья-то душа, заточённая в камень, рвётся из твёрдой плоти его, рвётся – не вырвется. Никогда. Вот что почувствовал я, человек, не склонный к возвышенному. – “Да, он создал. И записал – ему позволили перед смертью. Никто не играл эту музыку – не осмеливался. Но я посмел! Не сам – я не музыкант, но однажды пришёл я к известному – очень известному! – органисту, и показал ему эти листы. Он читал – знал старинную запись, – и лицо его искажалось – да, я видел, – и страшно смотреть, как лицо человека – живого человека – становилось похожим на лица в пещере. Он прочитал – и без слов пошёл к органу и начал играть. Ты слышал музыку – но не ту, что я. Он играл, и орган содрогался от боли, и кричал, как кричат, верно, души в аду – не одна – все кричат и рыдают, и мрак был и скрежет зубовой, и тело моё содрогалось и плакало – каждой мышцею, каждой косточкой – и жизнь моя уходила слезами, и пытался прижаться я к стенам собора – прочным, незыблемым – но дрожали соборные стены! – и казалось, что камни рыдают – и их слёзы сливались с моими – и точили соборные своды! И громадная глыба собора, на века возведённая зодчим, сотрясаясь, стонала от боли и кричала, готовая рухнуть – вниз, бесформенной грудой камня! И рухнула бы, и меня б погребла под собою – верней, моё тело – ибо раньше б я умер, не в силах терпеть этой муки – а ведь негромкой была музыка – да, не в силе звука тут дело. Вот так”. – Он замолк и о чём-то задумался. И блики света метались по его лицу, и казалось, не свет то, а музыка – её тень. Я ждал, но понял, что могу не дожидаться – забыл он про меня, вновь захваченный звуками, и погружался он в них, и, казалось, тонул – и тогда я дотронулся до его плеча и спросил: “А дальше?” – Мгновенье – непонимающий взгляд – глазами, в которых – бездна. Но тут же он вспомнил, и понял. “Хорошо, что ты тронул меня – хорошо, когда есть, кому тронуть. Бездна затягивает, и однажды, наверно, я не выйду. Да, так о чём ты спросил?” Я напомнил, и вновь полилась его речь: “Да, всё должно было рухнуть – и рухнуло бы – если б не музыкант. Он рухнул первым. Мгновенье – и всё прервалось. Органист – а он был здоровый мужчина – лежал без дыхания. Врачей! Я вызвал – его привели в сознание – ненадолго. Лишь одно прошептал он мне: “Я не смог сыграть так, как должно. И, наверно, никто не сможет”, – слёзы стояли в глазах его, он слегка сжал мне руку – и умер. Я забрал партитуру и больше не показывал никому. Нас было двое – тех, кто слышал. Я и он. Теперь – я один”. – “А откуда же эта музыка? Та, что играла во мраке? Та, что боролась с грозой? Та, пред которой я замер, с которой я слился – откуда она? Откуда?” – “Увы, всё очень прозаично. Просто тогда я включил магнитофон. И то, что ты слышал, – лишь запись, тень музыки. Точнее – тень тени – ведь то, что играл органист, – лишь тень мысли творца. Творца, погребённого здесь. Но эта музыка – не последнее его творение! Последнее – здесь, – он ткнул пальцем в дверь над плитой. – Он был старый и чувствовал смерть. И велел привести настоятеля. Да, велел – и тот не посмел отказаться. И пришёл. И вернул резец. И творил тот, и камни кричали, и резец вырывался из рук – но творил он – во мраке – и в предчувствии вечного мрака! Он творил. Надгробье. Себе. Вот оно”. – Рывок.

Дверь распахнулась. Тьма. А во тьме – крест. Да, крест был во тьме. Крест. Из гранита – чёрного, крепкого, несокрушимого. На века, на тысячелетия был он воздвигнут, и должен стоять был – веками – прямой и надменный – орудие казни, предмет поклонения. Не воздвигнут – рождён. Из земли он, казалось, поднялся – раздвигая пласты её мощью гранита, – и встал, и земля облетела с него, и стоял он, гранитный и чёрный, и от гладкой поверхности камня отра-

жался лишь мрак. Мрак, столь же чёрный, как он. А во мраке – распятый. Мощь и мука всех лиц, что в пещере, были жалки пред ликом его, искажённым и страшным. И он рвался с креста, яростно и неудержимо, и, казалось, трещит гранит, и крик – каменный и застывший – висит в чёрном воздухе. И яростен лик был его, и тело изогнуто в муке – и в напряжение – таком, что и крест был изогнут. Да, изогнут. Прямой – вначале, когда был создан, – и священник мне это подтвердил – он был изогнут – неведомой силой – мощью распятого – и мощью творца его – и рвался распятый, и крик раздирал мне уши – беззвучный и страшный – его крик. Я вышел – выскочил – за дверь, и священник закрыл её. Больше мы особо не разговаривали. Наутро я уехал – машина, слава Богу – не так ли? – оказалась цела. А изогнутый крест – сырость, внутренние напряжения в камне – много можно найти объяснений. Да, а здесь, – он ещё раз взглянул на распятие, – скульптор сумел. Но то ли, что нужно? То ли, что истинно?»

6-27.5.1995

Опубликовано: «Книжное обозрение», № 12, 25 марта 1997 г., с. 16–17

Святая повесть

Краски орали. Беззастенчиво, нагло, навязчиво. Не с желанием сказать что-то важное, тронуть сердце и душу, подарить красоту, устремить за пределы себя, укрепить и возвысить – иль растрогать до слёз; не с надеждой погладить, помочь, поддержать, если мука внутри, – иль создать эту муку, коль дух зажил, позабыл свою суть, растворился в быту – и заставить его через муку взлететь над собой – и дать силу и волю для взлёта. Очень многое может искусство. Подарить рай и ад, боль и нежность... Но здесь! В искореженных формах, резко, грубо, почти непристойно орущих мазках выражалось одно: «Ощутите, как я нестандартен! Как свободомыслящий и смел! Кто посмеет швырнуть в меня камень, признаться в отсталости и ретроградстве?... Не осмелится! Косо посмотрят, не примут в свои. Не нравится полузапретное? Значит, не наш – по разряду сантехника или тётки из очереди – будь хоть трижды профессор!» И проходящие не смотрели – взирали – с понимающим и глубокомысленным видом. Крикну кто: «Король голый!» – брезгливо поморщились бы, как аристократы на издавшего неприличный звук простолоудина, – а то и вообще записали б – в стукачи – не стукачи – но в серые и мало-приятные личности, поддерживающие официальную, осточертевшую всем линию... Как будто демонстративное несогласие – это уже Искусство.

Я жалел о потерянном времени. Но, уж если попал, – осматриваю до конца. Всё ж – итог человеческой жизни. И друзья молодцы – как ни трудно, но выбили зал – захудалого клуба, но – зал! Через год после смерти. На месяц всего. Одолели преграды. Смогли. Молодцы! Мне таких бы друзей!.. И любому – таких бы друзей!

Я случайно попал. Попытаюсь войти в его мир. Здесь – обрывки бесед посетителей, лист с портретом и краткой историей жизни, фотографии – детство, война – капитан рядом с пушкой – и слова «На Берлин!». Дальше – мирное время – художник в картинном берете, им расписанный клуб – скучновато, безлико, стандартно. И, наверно, картины на стенах – попытка прорваться сквозь эту безликость, возгласить своё слово, сверкнуть – и как жалко, что нечем! Яркость красок, крикливость? Да смешай павиана с павлином – тут и ор, и узор – только глупо и скучно – лишь режет глаза... Не брызжанье, не ненависть к жанру. У другого – с талантом и вкусом – может быть необычно, феерично, блестяще – или страшно до дрожи. Может душу задеть, – в обобщённой, лишённой детальной конкретности форме, выбить – словно резцом на граните – суть эмоций, влить её в аксиомы, обнажить арматуру, скелет – и с неистовой силой обрушить на нас, с хирургической точностью – в нерв – чтоб до боли, до крика! И, наверно, художник хотел. Но – никак. Подражанье, натужность. Не на мой, может, вкус?... Для себя я решил, а учить никого не хочу. Только жаль, что на это – вся жизнь. Невольно меряешь на себя. Мой же возраст – не пенсия, но уж мысли о ней. Мне – недавний инфаркт, ему – гроб. И осталась лишь эта мазня... Хоть бы что-то живое! Ну хотя бы с войны – там, где всё обострённо, на грани... Неужели и там – эта ложь пред собой, нарочитость и красок, и форм? Нет. В каком-то углу робко прятались десять – пятнадцать рисунков тех лет – небольших, без изысков – и, увы, никаких. Хотя, конечно, для фронтовых условий и не профессионала – нормально, а людям, изображённым на портретах, – приятно. Но как произведения искусства... Без таланта, хоть лоб расшиби, ничего не создашь. Жаль беднягу... Понимал ли он сам?

Я прощально скользнул невнимательным взглядом по портретам – не знаю, живых до сих пор иль истлевших людей, и вдруг – резко и хлётко, как пощёчина, – несколько слов, словно рвота, извергнутых рядом. «У, солдатская шлюха!» Нет, звучало грубее, да к тому же сквозь зубы, плевком. Он – спиной ко мне – одногодок, пожалуй, – только выглядит браво – хоть сейчас на ковёр или ринг. А в блевотине слов, диссонируя с видом, – застарело-бессильная злоба – и какая-то мерзко-крысиная... Я с гадливостью дёрнул плечом, хоть слова – не ко

мне. Просто выпустил злобу – в никуда, никому – и негромко притом: не зевакам – себе. Я услышал случайно – и слегка покраснел, словно влез ненароком в чужой, дурно пахнущий мир – и неловко вдвойне: и, что влез, и от вони. А потом – словно вспышка внутри: это он, тыловая, наверное, крыса, о нас, о прошедших войну? Да, хреновый художник – за это ругай! А за «шлюху солдатскую – горло порву! И – движенье уже! Но кольнуло в груди – и прислушался к телу в испуге – и исчез, не свершившись в ударе, замахах. Эх, ещё б лет пятнадцать назад!.. Даже десять... А сейчас – или стал поумней, или силы не те – но подумал: «Может, он не о том? И “солдатская” – просто со зла. Тоже, видно, художник. Конкурент, или друг – иль в едином лице? Вышиб лбом все преграды, пробил этот зал – может, даже отнял у себя! А теперь – исступлённая зависть – хоть к труп: “Получил, пусть посмертно – а мне не дают!” И достойная помощь – и жестокая зависть. Да – прорвётся гнойник – и забрызгает всё. Здесь же – только меня, да и то невзначай. Нужно выплеснуть боль – где не слышит никто! А иначе б – кондратий хватил!.. Или, может, он – враг? Жаждал, закрывал все пути, перекрыл кислород. А сейчас искупает свой грех – не к художнику – к человеку – или к близким его. Искупает – сквозь скрежет зубовой и стон. А слова эти выплюнул здесь – чтоб не лопнуть от них!.. Да, непрост человек... Эх напридумывал – лишь бы в драку не лезть! Впрочем, лучше подумать, чем бессмысленно лезть... Побуждения тоже важны: здесь – не разум, а страх. Ну, а может, назвать словом “мудрость” и заткнуться в беседе с собой?.. И вообще: буркнул что-то под нос человек – это, словно бы, мысли подслушать. А за мысли не бьют. И, отбросив “солдатская”, сказано точно. Верх абсурда – лезть в драку, защищая мазню». Так, шагая по залу, успокаивал душу – чтоб не думать: «В штаны наложил!» А картины глумились со стен – и из сердца рвалось злое, смачное слово – про себя и про них – и не просто его удержать.

Круг по залу, второй – хоть давно собирался уйти – только боль набухла в висках, и сильнее кололо в груди. К чёрту! Сунул таблетку скорей под язык, постоял, успокоился. Безразлично зрачками скользнул по мазне, повернулся к дверям – и внезапно – как искра в глаза! Я не видел подобного взгляда – взгляда мимо меня, на какой-то предмет за спиной. В этом взгляде – и счастье, и боль – и какой-то отчаянный крик – из глубин, мне незримых – но так явственно видимых в ней – в незаметной, неброско одетой женщине моих лет. Очень стало неловко смотреть на неё – хотя что ей за дело до взглядов зевак? Как застывшему в храме пред образом Бога – что за дело до взглядов людей? Но на что она смотрит?.. Поворот головы, всего тела – и души за ним вслед.

Карандашный портрет, не замеченный сразу. Рассечённое саблей лицо... Нет, не саблей. Просто порван и склеен листок, но разрыв – словно шрам. И, наверно, не зря... А какое лицо! Боже мой! Я застыл, я не в силах был глаз оторвать. Все мадонны – ничто перед ней, все иконы с всемирным страданьем в глазах! Я входил в её боль, в её свет, обращённый на нас. Я припал к её жалости, как к роднику, – утомлённый, больной, прошагавший нелёгкую жизнь человек. Отшагавший почти свою жизнь – но забывший о том и, как малый ребёнок, прижавшийся к всезащищающей нежной руке... И стремящийся сам защитить. Боль была в ней не только за нас. Словно в шрам на листке влезло что-то, сквернящее душу, словно стыд её грыз, хоть она не могла совершить ничего, что порочит её, – это видел я, знал – и, скажи кто иное, – разорвал бы на месте! «Это ты б разорвал?» Я очнулся, я снова увидел себя. Только что перетрусил, утёрся – и опять потянуло к красивым словам! Сам себе плюнул в морду, развернулся, шагнул – и едва не сбил с ног ту, глядящую в душу портрета. Извинился, не глядя почти, сделал шаг – и вдруг что-то швырнуло назад, и я встал перед ней: «Это вы?» Объяснения?.. Зачем? Она просто кивнула, а потом, словно что-то в душе прорвалось, вдруг моляще шепнула: «Отойдёмте. Я вам расскажу. Я устала молчать. Не могу!» Мы куда-то пошли. Приоткрытая дверь, закуток – для вахтёров бытовка или что-то ещё – но есть стулья, есть стол – и мы сели напротив друг друга – и слова потекли – и сиял в постаревшем, оплывшем, не очень красивом лице тот же

свет, и жила та же боль – и сидел я и слушал – и настольная лампа горела лампадой, а откуда-то слышался дьявольский смех – это кошка в углу шелестела газетой.

«Я не сразу попала на фронт – только в сорок втором. Говорили – ещё молодая, успеешь. Только ждать не могла, не хотела! Там людей убивают, там раны и кровь – кто спасёт, перевяжет, воды поднесёт? Нет, врачом не могла – тут годами учиться – и не очень, наверно, способна, – и пошла я на курсы сестёр, а потом – по ухабам, по грязи, по снегу – многих я дотащила до жизни. Но не всех. Скольких мне приходилось не брать... Выбирать, кого можно спасти. И лежали они, и пытались ползти – и кровиха хлестала, и тащились кишки – а я – мимо, не в силах помочь. Не дай бог выбирать, кому жить, кому нет!» И я сжал кулаки, вспоминая такую сестру и наставленный мной на неё автомат: «Не возьмёшь – застрелю!» – и потом мат старлея-врача: «Ты кого притащила! Не жилец!» Оказалось – жилец, – хоть врачам поработать пришлось – и, быть может, десяток солдат не успели спасти... Чёрт! И водки здесь нет – за них выпить – за солдат, за врачей, за себя, что живой, – и прощенья просить! Впрочем, рядом стоит – но не брать же чужую!.. А она положила ладонь на мой сжатый кулак: «Вижу, тоже досталось?» И такое тепло в ней, участие, женская боль, что впервые за многие годы я уткнулся лицом в грязный, пыльный, неубранный стол и пролил даже пару слезинок – и не пьяных причём. А рука, словно в детстве, касалась волос, тихо гладила, словно во сне, и слова доносились: «Не плачь! Бедный, милый, хороший – не плачь! Всё прошло. Вспомним тех, кого нет, и поплачем о них!» Да, слова нелогичны – но какая тут логика! – жалость, добро – и забыться бы в них – и уйти, не проснувшись!.. Ладно, расквасился!.. Я встряхнул головой, посмотрел на неё. «Извините!» – «Ну что вы! Всем нам хочется плакать, и всех жалко, и ничем не помочь. А пыталась. Хотела!» И она теперь плакала – горько, по-бабьи – и я гладил седые, ещё где-то русые пряди и шептал: «Всё прошло. Надо жить», – хоть не очень-то верил, что надо.

Она вытерла слёзы рукой, приложила платок к покрасневшим глазам, отвернулась на миг – нет, без всяких там пудр и помад – просто всхлипнуть ещё раз – последний, что-то сделать с платком. Я слегка отвёл взгляд – не смущать, а потом повернулся – и лампада горела опять – и с ожившего лика вновь глядели глаза, и слова вновь звучали, вырастая судьбой – житием. Или тяжким грехом? Я не знаю. Да и мне ли судить?

«Так я их выносила – с октября по январь. Задевало порой. Перевяжешь – и снова за дело. Не раненья – царапины. Надо ль о них говорить! А потом – уже святки кончались – снег неровный, комками – тащить тяжело – а он грузный, немолод, кряхтит – хочет матом – но не может – стыдится меня – и от этого вдвое больней!» – «Или легче чуть-чуть – отвлекает от боли?» Благодарный кивок: «Может, так. Только, знаете: раз – лишь один – не сдержался – видно, сильно тряхнуло. А потом – виноватейшим тоном – мне, девчонке: “Прости, дочка!” Он прощенья просил у меня!.. И не знаю, спасла или нет. Кровь текла, несмотря на повязку – выбивалась из сил, чтоб успеть, дотащить, пока жив. Рядом взрыв. И я как-то не чувствую боли – просто стало ещё тяжелей, и намокла нога, а потом подломилась – и под ней увидала краснеющий снег. Наложил повязку – спеша, чертыхаясь – уж простите, что так говорю! Может, вам неприятно? Может, верите в Бога?» Почему-то у многих в беседе со мной возникает подобный вопрос. А ответ не найти. Как хотел бы уверовать я, ощутить высший смысл, милосердие, любовь от того, кто способен спасти, дать бессмертье! Как порой по ночам ощущаю: «Умру!», мелкой дрожью дрожу, начинаю метаться в холодном поту, отвлекаюсь на скучную книгу, засыпаю к рассвету прерывистым сном, поднимаюсь разбитым и еле живым! Как взываю к кому-то: «Спаси! Помоги!», как стенаю: «Помилуй меня!» И порою при взгляде на лики с икон, при прочтении строк о молящихся в храме – а особенно страшных страниц в исторических книгах, где штурмуют враги белоснежный собор, а там женщины молятся Богу – а уже обложили поленьями храм, злое пламя впивается в стены – и молитвы, и души взвиваются ввысь – сам взвиваешься с ними и чувствуешь: «Есть! Любит, примет, спасёт! Ведь не даром так истово верят в Него – перед смертью, когда уж не лгут». А потом понимаю: перед смертью поверишь

хоть в чёрта, хоть в идола, хоть в амулет – даже проблеск надежды светлей, чем пустое ничто. Вот и силишься верить в бессмысленный проблеск, холодея от страха, что за ним – пустота. Сколько видел на фронте идущих на смерть – и не верящих в Бога – и к тому же хранящих мораль – что бы там ни твердили философы о невозможности этики без воздаянья за гробом!

Я не стал объяснять ей деталей. Просто грустно ответил: «Хотел бы. Но никак не могу. Да и если бы верил – в абстрактного бога, без каких-то священных писаний. Так что можно при мне чертыхаться. Ну а сами-то вы? Вот про святки сказали». – «Святки, Пасха, блины, куличи – для меня лишь традиции – как Новый год. Веселей с ними жить. Что ж касается веры – слава богу, что нет у меня! А не то б – не простила б Ему!» И так гневно сверкнули глаза!.. И так гнев не вязался с её добротой, чудным светом из глаз – несмотря на морщины, усталость, душевную боль, – что я даже испуганно вздрогнул. А она помягчевшим, смущённым, почти что просящим прощения тоном шепнула: «Да, мне стыдно и страшно за такие слова. Не хотела бы их говорить. Но нельзя мне молчать – здесь, сегодня, сейчас! Хоть раз в жизни скажу!» Да, крик шёпотом – страшная вещь. Здесь не тело кричит, а душа. Не дай бог никому услышать такой крик! Мне пришлось. Один раз. И не мать над разорванным сыном – хотя тоже слышал. Молодой лейтенант над любимой с головою, раздавленной танком... На войне все грубеют – но среди тысяч смертей от одной вдруг захочется выть: хоть убили чужого – но сейчас он роднее родных – и вжимаешь ладони в лицо, чтоб не видели слёз. И потом, в мирной жизни... Там ведь тоже хватает смертей. Но сегодняшний крик! И сильнее, чем себя, стало жалко её – и, коснувшись руки, – утешающе, мягко – я шепнул: «Мы не знаем, есть Бог или нет – но, коль он милосерден и добр – хоть частично – этой частью сейчас были вы. Это сам он себя не прощал. И простите себя за такие слова!» И она наклонилась ко мне и сказала: «Спасибо!» – и дороже его не слышал в жизни слов – и едва ли возможно услышать.

Миг молчанья – и вновь – от небесных материй – к земным – но горящим сиянием ада и рая.

«После раны, горячки – и ведь ногу хотели отнять! – не отняли – на добро иль на грех? – я уже не могла волочить здоровенных мужчин по изрытому полю. Помогала хирургу за кровавым столом, бинтовала, меняла повязки. Не хромала, но бегать тогда не могла – но добилась не тыла – всё же госпиталь полевой. А ещё, – побледнела, замялась, – вы – мужчина – неловко мне вам говорить – но вы свой – я же чувствую – свой! – и спасибо за ваши слова... И я всё же скажу. Надо было б подруге – с общим плачем – но нету подруг! Медсанбатских убили, с госпитальными дружбы не вышло, в мирной жизни на дружбу уж не было сил... День, когда говорила с врачом, когда рявкнул он резко, командно: “Ампутировать к чёрту! Хочешь сдохнуть? Не дам! Без ноги будешь жить”. И, не слушая, двинулся дальше. Слишком много работы, чтобы праздно болтать. Ночь, последняя ночь, когда я – человек – не обрубок! Когда я ещё женщина – знаю: буду любить, будут дети. Но не быть ничему. Впереди – пустота. Я – калека – кому я нужна? Сколько их, молодых и красивых – женщин, девушек, баб – а мужчин почти нет. А оставшимся – выбор. И костыль с деревянной ногой никого не прельстит. И я мучилась ночь, а кричать не могла. Тут от боли кричат, раздражающей тело. У меня такой нет – и мне стыдно кричать. Лишь в какой-то момент, как представила мрак, пустоту и брезгливо глядящих на жалкий обрубок мужчин – и среди них человека, жить с которым бы жизнь и уйти в один день! Нет, ни с кем не рассталась, никого не ждала – и меня было некому ждать. Просто – девичьи грёзы. И, когда закричала – подбежала сестра – я, краснея, врала, что в ноге вдруг ударила боль – и сестра, не подумав, утешила: “Завтра отрежут, не плачь!” – и, поняв, что сказала, со слезами припала ко мне, прошептала: “Прости!”, из кармана достала, что было – грубо сделанный чьей-то неловкой рукой из бумаги цветок – очень ей дорогой – так сжимала его напоследок, – драгоценные полшоколадки – и, погладив меня, как дитя, побежала к другим – кому помощь нужна. А наутро – налёт. И её, и хирурга, кричавшего: «Резать!» – на куски. Вместе с рабочим столом. Боже мой! Я ведь ночью молила незнамо кого о спасенье ноги. Не такой же ценой!

Не хотела я смерти врача! Может, где-то с досады в мелькание мыслей грязным комом швырнулись слова: “Чтоб ты сдох!” Это ж так, фигурально, как ругань, без буквального смысла – просто выкрик души. А его – на куски!.. Уберите платок. Понимаю, что я ни при чём. Если б каждое “к чёрту!” отправляло туда, все бы были в аду. Невиновна... Но просто хотелось – нет, не сдохнуть – не быть никогда. И когда капитанша-хирург, матерясь, вдруг шагнула ко мне и, по-бабьи всплеснувши руками, прокричала: “Не бойся, спасём! – и добавила: ...доченька” – так, чтоб не слышал никто, – я, как мёртвая, даже глазами никак не ответила ей. Не могла. А спасенье пришло. Есть, как видите, обе ноги. А потом санитарка с языком, словно два помела, говорила другой: “Из-за этой, – и смачное слово! – три часа наша врач потеряла – а скольких бы спасла! Схлопотала взысканье – только Тихон Сергеевич тоже ведь врач – понимает, жалеет – да и мне её жаль, дуру малую! Девка – и без ноги!” Понимаете вы: из-за этой проклятой ноги чью-то жизнь не спасли! И поэтому – сразу – на фронт! Как поджило чуть-чуть – заявления, просьбы, мольбы – отнимала и силы, и время у многих, пока кто-то один – однорукий, с медалями – не припечатал: “Уймись!” Тихо, веско, без ругани. Втолковал: “Хочешь камнем на шее висеть? Шкандыбать, когда надо бежать? Чтоб, спасая тебя, кто-то лёг? А ведь будут спасать. Девка ладная. Влюбится молодой дурак – и полезет под пули. Вот приказ: поезжаешь на месяц домой, поправляешь здоровье. Дальше – в госпиталь. В тыловой. Там работы с избытком”.

И пошла. Не на месяц – на пару недель. И вернулась не в тыл. Не окопы – но всё-таки фронт. Не таскать с поля боя – лечить. Тут нога не мешала. Впрочем, боль донимала порою – но можно терпеть. А потом, хоть нескоро, прошла... И таскать приходилось: не хватало людей – иногда и врачи помогали носить!.. Но всё ж меньше, не так.

Угодила в разгар наступленья. Немцы дрались, как черти. И волна захлестнула – без рук и без ног, с животами и лицами всмятку, с кишками наружу – и все силы – для них, и на сон только пару часов – и опять, и опять. Не до плача над каждым обрубком – успевай только резать, колоть, перевязывать. Не людей видеть – раны – кровь и гной. Ликовать, коль спасли, – сквозь усталость – но всё ж – ликовать! – и беспомощно плакать, если всё напряжение, усилия – прахом – и живое становится мёртвым. Да, всё ж плакать, хоть времени нет. Только плакать в душе, не теряя секунд в промокании слёз, – и, забыв об ушедшем, заниматься другим – чтобы всё ж не ушёл. И ночные провалы – сон без снов – и работа опять. А потом фронт застыл. Голос в сводках гремел про другие бои – и другие медсёстры валились без сил, чтобы снова вставать и работать. Нет, у нас не курорт – но в сравнении с прежним... И вот тут накатило. Остаток прошло – и боль каждого стала моей. Есть защитная корка у врачей, у сестёр – а иначе работать нельзя. Если с каждым страдать, умирать – кто же будет лечить? Но когда парень ночью – с лицом под бинтами, и без ног, и с оторванной кистью – вдруг заплакал так горько и страшно: “Ну кому же я нужен теперь!” – я свалилась в свою безнадежную ночь – когда знала, что ногу – под нож – и судьбу мою с нею – под нож. И шагнула к нему, и шептала: “Не плачь! Будет, будет тебе – и любовь, и судьба!” Он же только рыдал: “Кому нужен такой!” И тогда я ответила: “Мне”. И наутро – а завтра его увозили – я ушла с ним в кладовку – унесла на руках: он худющий, да к тому же без ног! – и был ключ – и среди всякого хлама отдала ему душу и тело своё, не увидев лица...» И удар вдруг глазами – с болью, с вызовом – но, увидев, что вызов напрасен, – нет во мне ни смешка, ни упрёка – продолжала: «Чтобы знал он, что нужен, любим. И любила его, чтобы завтра забыть – и запомнить навек. Как других обречённых на скучную жизнь человеческих обрубков. Я давала им жизнь и тепло – и им было, что помнить. Я давала не блуд, а любовь. Он был первым, единственным – и каждый последующий – тоже. Один раз – на всю жизнь. Потому что потом – пустота. Чем сильнее изранен – тем сильнее любила, тем больней отпускать в никуда. Всех их вскорости – в тыл, но какие-то дольше лежали у нас – и уже были силы. Им – и душу, и тело. А другим – только душу: еле живы, нельзя им пока». И вот тут у меня – недоверье в глазах: «Извините, но знаю: таких долго не держат. Их по-скорому – в тыл. Не хватает ни мест, ни врачей, все усилия – только на тех, кому снова на фронт». –

«Разумеется, так. И тяжёлые – в санэшелонах – по эвакогоспиталям. Ну а сколько из них по дороге помрёт? Их не очень-то можно возить. Но – война... И вот наши старались: кого можно – задержат подольше – в дни затишья, пока мы на месте, пока не раздастся приказ наступать. А ещё – по окрестным домам, будь то город, село. На постой, так сказать. Не задаром, конечно: от себя отрывали кусок – и продукты, и деньги. И могли получить нагоняй. Получали, бывало. И – плевать! Вот такие врачи – хоть, конечно, не все». О себе промолчала. Но я думаю, тоже делилась. «А бывало такое – и сейчас даже сердце щемит: принимала старушка калеку, как родного – нет, даже не так – как погибшего сына. Как молитву за сына живого – не словами, а делом. Оставляла потом у себя... И спасибо таким!.. А медсёстры, врачи – выбирали минуты – из немногих свободных минут. Отрывали от отдыха, сна. Навещали, лечили. А потом – кого в тыл, а кого – у приёмной семьи... А старушка одна! С инвалидом таким. Обнимала меня, как родную, как дочь, как взвалившую крест на себя из любви иль из жалости – и прощалась, и знала: вернись!.. Если буду живой. А я знала, что нет, не вернись. Боже мой!.. И ещё...» – и хотела мне что-то сказать, но запнулась и добавила просто: «Вот так». – «Ну а замуж? За любого из них?» – «А другие куда? Мне их бросить, предать? Молодых, нецелованных: как белопенные вишни, их срубили под корень. Нет, срубили страшнее – не дав расцвести, не позволив раскрыться навстречу весне. Я дарила им радость и жизнь, красоту белоснежных цветов – и, хоть срок им – лишь день, – но они расцвели! И их помнят и стылой зимой, и гниющей проклятой болотистой осенью, когда слизь облепляет обрубки стволов, когда росшая в небо в охряном сиянье сосна, затрепав, повергается наземь, превращаясь в погано чернеющей остов с прыщами грибов. А прекрасного лета израненным людям не знать. И давала я всё, что могла, – и любила, как только могла!» И с надрывом: «А ведь грязные сплетни ходили!.. Я любила – а любимые видели... – не могу так сказать о себе! Неправда! Я не такая! А они видели именно это. Только я пробивала барьер, только я добивалась иного – и какое же счастье, когда посетитель, – тут замялась она – но с усилием выжала – резко, почти что плевком: – Да, публичного дома! – и – с ожесточением – ещё раз: – Да, публичного дома! – вдруг увидел любовь – и прощался со мной, как с любимой. Здесь мой фронт, и, покуда война, мне – ни шагу назад! И учтите: при этом – работа. Как у всех». И взгляд с вызовом – словно я что-то пытался сказать, оскорбить... Только я не пытался. Лишь вопрос: «А прощанье? Ведь, наверное, каждый писал? Каждый думал, что ждёшь?» Не хотел о своём – только что-то внутри засвербило, а она, не заметив, ответила: «Да! Первый раз... Как просил он, зывал: “Напишу – ты ответишь? Не забудешь меня? Будешь ждать?” – хотя, собственно, ждать-то ему: я на фронте – не он! Всё равно: “Будешь ждать?” И он прав. Не окопы здесь, смерть не лютует – хоть погибнуть есть шанс. А ему – без просвета и выхода. И понятны слова: “Будешь ждать?” – из затверженных намертво строк, ставших жизнью. И в ответ я шептала: “Приду! Вот закончим войну – и приду. Только жди!” И я знала, я верила: “Так!” ...А потом появился второй. Так же плачет, стыдясь своих слёз – и не может их вытереть сам. И, когда вытирала их – стон: “Кому нужен такой!” И как жалко его!.. И вот тут проняло. Осознала свой путь. А ведь мчались – письмо за письмом. И мой первый, любимый – как и пятый потом, и десятый – написал – и ведь как написал! – будет ждать, любит, только мною живёт – и письмо долетело ко мне – стало первым из стаи – словно белые лебеди, мчались они, но куда? Высох пруд, и на дне только камни и грязь. И тогда я своею рукой схоронила себя. Написала: “Убита при воздушном налёте”. Подписалась – капитан медицинской службы такая-то – хоть по званию – сержант. “Капитан” – чтоб звучало весомей... Или в память о спасшей мне ногу!» Почему-то с надрывом – и в глазах, и в словах. А потом, застеснявшись, добавила: «Разорвала. Написала опять, подписавшись сержантом. Малограмотна я для капитана!» Я удивился, но не стал прерывать. «А потом ещё раз порвала. Не жалела бумаги, хоть мало её – и достать тяжело. Написала опять. От соседа его по палате. К тому времени – трупа. И послала свою похоронку – не с печатью, конечно, а просто письмо. Чтобы больше не ждал. Чтоб пытался кого-то найти. Сколько баб без мужчин!

Может, даже безногий найдёт. А коль будут писать мне – и один, и другой, и десятый – то ответит им кто-то, всё загадив, залив нечистотами. Мир у нас не без добрых людей... А как страшно себя хоронить! И не знаю, права ль, – может, надо оставить несчастным хоть лучик надежды, веры в то, что их ждут... Оставляла я несколько раз. Посылала слова про пропавшую без вести... Чаше всё ж похоронки. У кого вы отыщете столько могил?» – «Да, досталось тебе! Ой, простите – на “ты”!» – «Да какое “простите!” Ты же свой – ты единственный свой... да, теперь уж единственный свой, кому можно сказать, кто поймёт – и не очень осудит. Ведь так?» И глядела в глаза мне, и слёзы лились – и я гладил ей голову, плача над ней и над всеми. «Спасибо, что понял, простил. А майорша, которая ногу спасла...» – «Капитанша?» – «Нет – время промчалось, чины выросли, – так проездом зачем-то заглянула к нам в госпиталь – и наверно, ей что-то шепнули, – как глазищами зыркнет – и брезгливо, плевок: “Надо было и вторую оттяпать – по самое это!.. Эх, ты!” – и махнувши рукой, прошла мимо, задела меня – и платком тёрла руку, словно гадость стирала, отшвырнула платок и быстрее пошла. Я – за ней – но она уж садилась в машину – и захлопнула дверь перед носом – и всё. Унеслась. И я ей не смогла объяснить».

«А медсёстры, врачи? Неужели не знали?» – «Ну конечно же, слухи ходили. Только Фёдор Семёнович спас. Ой, какой человек!.. И как же всё плохо!» И рыдала, уткнувшись в поверхность стола – и опять утешал. А потом прошептала: «Ты же видел его. Портрет. Рядом с моим...» Да, действительно, был там какой-то портрет. Карандашный набросок. Цыганского типа красавец с резким, властным лицом и с неистовым пламенем глаз – словно пекло внутри. Тут художник сумел. Выдал мощь. Выдал боль – непонятно, за что. За страдания людей? За жестокость войны? За наш мир – иль за внутренний ад? Но контрастность страшна. Мощь и боль. Не врождённая боль, не своя. Он не создан для боли – но принял её. Почему? Впившись в женский портрет, краем глаза заметил мужской, оценил – но смотрел на другое, и отвлечься не мог.

«Он – наш главный хирург. Царь и бог в хирургии. Безднадёжных спасал. А уж скольких оставил с руками, с ногами! На меня сразу глаз положил. Мне же – нет и никак. Да, красавец, талантище, женщины сохнут – а вот мне безразличен. В дни наступления – не до любви – я уж вам говорила. А как стало потише, – нет, не бросился сразу в атаку. Он – решительный, резкий во всём – тут стеснялся. То влюблённо посмотрит – и взгляд отведёт, то вдруг даст томик Блока иль неведомо где раздобытый цветок. И внезапно потом вызывает к себе. С мёртвым серым лицом – лишь глаза, словно угли – и как гаркнет: “Это что тут за...!” – уж простите, сказать не могу. Я на фронте слышала многое – но в подобной развёрнутой форме... И тогда я, как вам, объяснила ему. Он менялся в лице, он краснел и бледнел, а потом – кулаком по столу: “Я беру тебя в жёны. Пальцем не трону – но поганые глотки заткну. Выполняйте приказ!”» – «Неужели же вы согласились?» – «Нет! Конечно же, нет. Так и крикнула прямо в лицо. Это ж подло и мерзко – на чужого взвалить свою тяжесть!» На «чужого» иль просто «другого»? Мысль исчезла, мелькнув, не прервав её речи. «Я хотела идти – только он закричал: “Стой, сержант!” А потом резко бросил мне: “Дура!” Крепче, злее рвалось изо рта – но сдержался – аж скрипнули зубы. “Я сегодня чуть в грех не вошёл. От мужчины б услышал – прибил бы! А потом подтвердили другие. А ведь будет страшней. Каждый взгляд, каждый рот. И во всех – непристойное слово. Не сдержусь и ударю. Или даже убью. А врача или фельдшера жалко – многих могут спасти. Да и я здесь нужней, чем в штрафбате. А к тому же – прибью ни за что – ведь, что видят, о том говорят. А чего им стесняться – ведь правда! И не вникнешь в сокрытую суть. Про жену же мою – не посмеют и вякнуть! Христом-богом молю – соглашайся!” – хоть не верил в Христа. “В другой госпиталь, в тыл? Всё равно ведь узнаю: тебя оскорбляют – найду способ, приеду, убью. Не вводи же во грех!” Что же делать?.. Он прав. И я сделала так. Он закрыл меня грудью, принял всё на себя. Ну, его уважали, боялись – в лицо не решались сказать – но шептались в углах, замолкая, когда обернись. Но, чуть взгляд отведёшь – шепчут в спину...

И решил на меня похоронки писать – без печати, как я на себя. Хоронить каждый раз. Каково – хоронить? И темнел бы лицом – но писал. Или думал порой: “Чтоб ты сдохла!”? ... Я не ведаю, что говорю! Вы простите – и Фёдор – прости!

...Боже мой! Первый раз, когда шла – уже мужней женой. Отвернулась уже – выходить. Вдруг рванулся ко мне, взял за плечи – и ладони – железо – бьют и жаром, и током. Неужели обман? Не желает пустить? Не позволю, не дам! И сюда – ни ногой! И презрительным взглядом и словом ожгу, как хлыстом! И ногтями, зубами!

Развернул. Поглядел мне в глаза. Отпустил. Напряжением воли сделал очень спокойным лицо. Капли пота на лбу. Медсестре – мне б – стереть! Отступил на полшага. Взял за руку с движением – склониться к руке. Но отбросил движение – и прямой, с напряжением струны – прикоснулся губами ко лбу – словно к мёртвой. Отвернулся. “Иди”. И пошла.

...Мужа вызвали вскоре в санупр. Возвратился старлеем, а был – капитан. Мне потом уже, годы спустя, в мирной жизни, рассказал офицер, бывший там. Медицинский мир тесен. Оказались в одном институте. Только рот тот держал на замке. Знал: муж скор на расправу. Ну а мне рассказал... Только не в институте...» Сжались зубы, лицо побледнело – но взяла себя в руки и продолжила, может, слегка хрипловато – но потом хрип прошёл: «В кабинете втроём – и полковник – начальник санупра – мужа стал распекать, заорал: “Повышеньё дадим – только брось эту”, – а закончить не смог – подавился зубами. Тут – дорога в штрафбат – а полковник был злой и обид не прощал. И припомнил потом, чёрт возьми!.. Только здесь – чудо вдруг – как в бульварном романе. Дверь – наружу – и входит командующий. Он любил появляться внезапно – видеть правду, а не лакировку. “Доложить!” Доложили. “Вы двое – за дверь – ждать”. Через пару минут дверь раскрылась. “Входите!” Почему-то полковник – ещё с очень красной распухшей щекой. Почему – неизвестно. Но рука у командующего – как медвежья лапа. “За жену заступился – хвалю. А за побои, нанесённые старшему по званию, – звёздочку с плеч”... Мне Фёдор Семёнович ничего не сказал. Объяснил, что придрались к работе, что кого-то не спас. Лишь потом поняла, как напрасно и страшно себя обвинил, – он, спасавший уже не жильцов. Позже звёзды вернулись. Крупней. Только дело не в них. Да хоть маршалом стань, академиком стань – если та, кого любишь, жена – отдаётся такому служенью – и ты сам отпускаешь к другим, ни полпраза её не обняв! Мог запить – но не запил. Ибо тоже служенье. Больным. Только весь исхудавший и чёрный. Но спасал даже тех, кого б раньше не спас. И я с ним за столом помогала спасать. Да – служенье и здесь. И старалась, училась. И меня, как сестру, уважали. А вот как человека... Говорят, что строчили доносы. Только Фёдор – отличный хирург – и не тронули нас» ... Не сказал, но подумал: «Не позволил командующий».

«Санитарки, медсёстры – смотрели брезгливо – даже те, кто крутили романы. Объяснить бы им всё! Ведь хорошие девки – поймут! И стремились сюда, чтоб помочь, исцелить – и не только умением своим, но и женским теплом... Я не это имела в виду!» – «Понимаю – не это. Неужели совсем несмышлёный?» – «И ведь сами жалеют и любят – даже замуж выходят за тех, кто без ног! Глаша Зотова вместо красавца-майора – за сержанта – почти самовара – лишь с одною рукой. И жалели её, восхищались – с содроганьем порой. На меня ж – как на грязь под ногами. Мне бы в ноги упасть, зарыдать, как пред миром, покаяться!.. Нет! Не в чем каяться мне! Просто всё рассказать. И в слезах бы они обнимали меня. И жалели б, любили не меньше, чем Глашу. Ей уехать, мне с ними работать и жить – и уже не изгоем! Но нет! Не могу открывать свою душу. Вам сумела... И Феде смогла – на войне». И простое лицо становилось отнюдь не простым. Мощь и строгость. Может, с ликом таким сами шли на костёр. И откуда-то мысль: может, так же, стесняясь, Бог не может сказать, почему мир, им созданный, зол? Потому не прощают его. Атеисту – подобные мысли? Так, забава ума, отвлечение на миг от душевных терзаний, превысивших силы, – чтобы тут же войти в них опять. Я отвлекся на миг от рассказа, и включился на фразе: «Подаянья не просим. И не лезем в друзья». Я не понял, кто «мы» – и неважно. Риторический образ. Чего понимать? «А другие искали с руками, с

ногами – и мой выбор – им в души плевков. Извращением считали. Глашин тоже – но попробуй скажи! А здесь можно – втихаря, чтобы Фёдор не слышал. За него ненавидели тоже. Хоть не лезли в постель – но всё чуяли бабьим чутьём... Может, Глаше сказала б – но она от меня, как от грязи! В общем, плохо мне было. Одна. Если б просто одна!.. Да, скажу: говорить – так уж всё! Да, был грех – не прощаю себе и вовек не прощу! Лиза Гольдберг – моложе меня, с виду – пальцем перешибёшь – но пахала, как вол – да ещё и читала стихи – так таинственно, странно звучащие, не из нашего – из волшебного мира, – среди крови и стонов – и тонула я в них – и не я лишь одна. Чьи – девчонки не знали. У врачей, кто постарше, были странные искры в глазах – но не спросишь. И она – тоже замуж – за “без рук и без ног”!.. И до Глаши ещё – та попозже пришла. Утончённая книжная девочка – и, наверное, умственный выбор. Только жизни не знала – и уж выбрала – не желаю злословить – но калечит судьба и мерзавцев!.. А иначе б совсем было подло!.. А она слишком книжная. И подобных людей не встречала... Нет, печальней ещё: заподозрить боится, оскорбить человека – даже в мыслях своих!.. А такого мерзавцем назвать – похвала!.. Есть слова поточней. Воздержусь... Что – решили: обидел меня? Нет! Разговор через стенку – он-то думал, не слышит никто – и соседа учил – шепотком: “Ты на жалость дави! Баба, если размякнет – вей верёвки, ногами топчи – даже если их нет! Выжимай всё, что можешь, – да ещё, чтобы всё отдала и считала себя виноватой!” А в ответ – лишь мычание: тот – немой – с искорёженным ртом. Знает, сволочь, кому говорить – кто не выдаст – даже если б хотел! Как попутчик в вагоне... Не как вы! Вам – как другу, как брату, как Богу – как совести, чёрт побери!.. А ему он, пожалуй, – ну, не то что желая добра – просто жизни уча, как старик молодого, – хотя старше всего-то на несколько лет – и на целую гнусную жизнь! И не верю, что смог научить, – хоть немому бы жить помогло – только жить, как мерзавец! Нет, не смог научить!.. А обычно умильный какой! Каждой – сладкое слово – прямо сахарной ватой задушит! Ложь слышна в каждой фразе, в неумеренной массе восторгов. Верит: бабы сожрут. И ведь многие жрали. Мне противен был сразу – хоть ругала себя: “Как же можно огульно клеймить человека! Каждой хочет приятное сделать – иль хотя бы сказать”. Оказалось – права. Даже более чем. С Лизой – тоныше сработал. Ведь отнюдь не дурак. И подходы имеет.

И, закончив работу, уложив инструменты, чтобы завтра всё – в должном порядке, – я шагнула к нему и сказала, что слышала всё. А в ответ: “Ты, подстилка, ещё вякаешь что-то!” Врезал прямо по ране. Убежала в слезах... Про “подстилку” он дальше – молчок. Да и здесь – шепотком. Понимал: Фёдор пальцем не тронет его – пользуется, гад, своей беспомощностью! – но с начальством лучше не ссориться; а я жаловаться не буду. А услышат соседи – до начальства дойдёт. В общем, лучше молчать... И соседа учить перестал. Осторожничал, гад! Вдруг подслушает кто? И теперь – только ластивый поток. Горы сахарной ваты. И сквозь них не пройти.

Мне бы – к Лизе – решиться, сказать – и спасла б и себя, и её! Чёрт возьми! – и её, и себя – лучше так!.. И меня б поняла – в моей боли, любви и тоске. Вот такая бы книжная и поняла. Только как подойти?.. Вот и не подошла. И ещё: говорила тогда я попроще. Вот потом...» А и вправду – я чувствовал книжность, необычное построение фраз – из каких-то забытых времён, из каких-то немногими читанных книг. Почему? А она продолжала: «И куда с деревенской речью – к такой? К городской, образованной, умной! И ещё – понимаете: чистая. И считала меня – сами знаете, кем! – и с такой дрожью в голосе сказано. – Как же к ней подойти? Отшатнётся, как от шелудивой собаки!.. А собаку-то шелудивую пожалела б, отмыла, спасла! Я же хуже собаки – испражнение, плевков!.. Вот так мучилась – и не подошла. Лишь потом, когда поздно, дошло: одолела б барьер – и душа говорила б с душой... Молодая была – и не сделала шаг. И жалею. Она б поняла. И её бы спасла! И имела б подругу сейчас. И всё было б не так!..» Как-то вскрикнула резко, по-бабьи – но так искренне, с болью такой! «...Да... Подругу сейчас... А жива ли она? И вообще – кто остался живой?» И склонился я к ней, и шепнул: «Мы остались. Мы живы. И живём за себя и за тех, кого нет. Вот ты вспомнила Лизу – и жива она, даже если...», – я не стал добавлять. И не верю я в это, хоть хотелось бы верить! И, наверно, не

верит она. Но утешить-то чем? А в словах – веры нет – но надежды хоть малая кроха. И в том чувстве, что вызвало их. И какая в ней жалость ко всем, несмотря на свой внутренний ужас! И – внезапная мысль: «Ну хоть чем-то сумею помочь! Сниму грех». И сказал: «Не терзайте себя! Чтоб вы ей ни сказали – описали б его, хоть как чёрта с рогами, – всё равно бы пошла. Убедили бы мужа разлучить их, услать инвалида – всё равно бы нашла. Из рассказа понятно. Нет греха на душе. Не терзайте себя!» Миг раздумья – и я видел, как сбросила что-то с души. «Не спасла бы. Вы правы. Свежий взгляд – и, что мучило долгие годы, ушло. Только всё ж не совсем, – как-то с горечью в голосе. – Я должна была сделать попытку, сделать всё, что могла. Ведь немой-то сказал! Да, немой – но умеет писать! И потребовал знаками лист. Написал. Сунул Лизе. Я сама не видала – но потом санитарка взяла лист, сказала: “Неправда!” – очень сдержанно, тихо, – а затем – и немного ей жалко! – наклонилась к нему и добавила ласково: “Не ревнуй! Ты хороший. Тебя тоже любят” – и поцеловала в щеку. А потом обернулась к мерзавцу – и тот очень душевно ей что-то сказал – и санитарка прочувствованно добавила: “Хороший человек!” ...Проклятый тартюф!.. Я тогда о Тартюфе не знала – но всё ханжество видела. И слова все слыхала – как в театре злодей говорит сам с собой – а зал слышит. И случайности нет. Я работала там регулярно, да и он разглагольствовать, я полагаю, любил. Не сегодня, так завтра, не в таких выраженьях – в других – но слышала б всё ж». – «И, конечно же, вы пожалели немого?» – «Не могла. Был другой. В одно время – один. Только так! Чтоб без ревностей всяких, ненужных страстей. Не хватало им только измены! Потому промежутки такие, чтоб все, знавшие прежнего – в тыл, иль на фронт... А бывало, и в гроб. Чтоб никто из соседей не мог подтвердить, что подряд я – с двумя. На вопрос: “А ты видел? Может, свечку держал?” – чтоб заткнул свою пасть – да ещё покраснел под бинтами. А слова санитарок, сестёр – бабы сплетни – и им можно не верить. А тем более знали: я в работе строга. За небрежность обидеть могу, и порою – сплеча! Слишком дорого стоит больным. А обиженный может и сплетню пустить. Сам не пустит – чужую разносит... Так-то так – только верили всё ж – и трудней, и трудней убедить, доказать, что не блуд, а любовь!.. Убеждала. Хоть порой – как разведчик – на грани провала... Обошлось. А мир всё же широк – и, надеюсь, друг друга не встретили. И немного ведь их. Посчитайте – поймёте... А вот после войны, когда их собирали – говорят, где-то есть для таких инвалидов дома – и вот там они вместе!.. Не могу! Не хочу! Страшно думать!» И опять я её утешал – и спросил, отвлекая: «А что с Лизой?» Она вытерла слёзы: «А ведь знаете, Лиза могла и поверить немому. Усомниться в мерзавце слегка. И себя ж за сомненья корить! И – вперёд – сквозь душевную боль – в брак – как милость больному, и как кару себе! Так что, чем я могла помешать? Но я всё же решилась сказать! Показанья мои и немого совпали б – говорю языком детектива – и она бы поверила нам!.. Только я прочитала листок. Лиза где-то его обронила – тоже, знаете, нервы! Санитарка нашла. А там просто написано: “Он – плохой человек. Он Вам лжёт”. А устраивать очную ставку, издеваться над раненым Лиза б не стала. И мне б не дала. Для спасенья другого – пожалуй. Но не ради себя!.. Потому – не спасла. А посмела б я всё же, сказала – так сочла б, что завидую ей, что желаю нагадить!.. И немому – губами к щеке. Мне б – ладонью!.. А написано было б подробно – решила б, что я прочитала. Так и так – отвращенье, брезгливость – и ладонь по щеке. И гадливо бы вытерла руку... Всё равно я должна была сделать! Чем преграды страшней, тем достойнее шаг!.. Не смогла. А вот Лиза смогла. Тем красивей, отчаянней шаг!» О других может думать: «красивей», «отчаянней». О себе – без возвышенных слов. «И она не отправилась в тыл. “Жди меня!” – ему было даровано ей. Выгрыз, сволочь, чужое!.. Ведь какой лейтенант заходил! Появился потом, после свадьбы. Прямо создан для Лизы. От неё же – внимания – ноль – хоть такие ловила я Лизины взгляды в лейтенантскую спину, когда он – не понуро – держал марку! – но всё ж уходил! И я знала, что – нет! Никогда... Раза три за всё время появлялся всего – на какой-нибудь час – и обратно в окопы. Но, я знаю – писал. Попыталась одна подшутить – но такой получила ответ, что уж больше никто не шутил». И хотел я сказать: «Что

за гад! У калеки жену отбивать!» – но сдержал осуждение: тот – калека, но жив. А его, может, завтра убьют. И она – в унисон, почти в тех же словах – и ещё: «Он и сам ощущал, что неправ – но не мог прекратить... Мои домыслы? Нет. По обрывкам бесед, разговоров на общие темы, бабьих сплетен. Вы ведь знаете: были такие – из зрачков аж кричало: “Уступи! Дура-девка! Такой лейтенант... Уступи!.. Чтоб могли мы сказать: “Все с грехами!” ...Ей простили бы грех – хоть не все. Не как мне. Тут понятней и проще. Но она – ни на шаг!.. А потом прорвало лейтенанта – но как! Было: Лиза читала стихи – те – незнакомых времён и поэтов – только вдруг он шагнул и сказал: “Я прочту! Извините, своё”».

Тут, прервавши рассказ, она встала – и, дрожа, как струна, женским голосом, но по-мужски – как, наверно, читал лейтенант – начала:

Меч толедской работы меж нами,
И толедское пламя меж нас.
Мы охвачены страсти волнами,
Но следим, чтобы страсть не зажглась.

Мы разумны и взрослые – и всё же
Меч нам хочется к чёрту рассечь!
Пламя светлое жизни дороже —
Но надёжен из разума меч.

Лес зелёный раскрылся над нами —
За шатром всё прекрасней шатёр.
Хоть бы стали холодное пламя
Щебет птичек летающих стёр!

Не дворец, чьё величье сурово —
Здесь зелёный шатёр из ветвей.
Слово рвётся – не сказано слово —
Меч проклятый всей жизни живей!

И идём мы, и пламя меж нами,
И толедский жестокий клинок.
Мы охвачены страсти волнами.
Хоть бы кто-нибудь выплыть помог!

И такие и боль, и отчаянье в звуках! А она, опустившись на стул, продолжала – голосом, постепенно переходящим в обычный: «И запомнила стих – непонятный и странный. Но в нём сила, и мука, и страсть!.. Про Тристана с Изольдой узнала потом, через долгие годы. И про меч между ними. Долг и чувство. Он об этом сказал – и она поняла. И я тоже – сквозь таинственность слов». И представил: землянка, тусклый свет, книжный мальчик, заброшенный в бездну войны, – и такая же книжная девочка – и разумны и взрослые, и юны и глупы, – и толедские страсти, и Тристан и Изольда – и меч между ними, и зелёный шатёр с пеньем птичек, – отвлечение от этого жуткого мира – и удар этим самым мечом – потому что сказала она: «Он ушёл – резко, быстро. И как Лиза хотела рвануться за ним! Но сдержала себя. А вот я не сдержала. Не тогда, а чуть позже, в ночи. Я ведь, я виновата во всём! Не смогла защитить. И такой внутри стыд! И с особой любовью, с надрывом, я ласкала любимого мной – и он чувствовал горе – и меня утешал! Он, без ног и с обломком руки! И считал, что я плачу от скорой разлуки – и твердил: “Не забуду тебя!” И ему, как и всем – похоронку!.. Ладно, к чёрту меня! Лучше буду

о Лизе. Лейтенант? Он вернулся не скоро – когда Лизу неделю уже, как отправили в тыл. По ранению... Слава богу, что ранило. И ещё, слава богу, – не сильно. Больше он не являлся. И что дальше – не знаю. Но надеюсь, что живы... Хотя счастливы вряд ли... Вам же, вправду, спасибо – хоть за Лизу себя буду меньше корить. Сняли камень с души – хоть один. Хорошо, когда есть, кому слово сказать!»

И я слушал про Лизу – и жизненный опыт, ощущение хрупкости, боли подобного типа людей – и любовь к ним, и жалость – натолкнули на мысль: «А ведь Лиза могла понимать!» Я чуть слышно шепнул – но она услышала и воскликнула: «Да! Да – могла понимать!» – и чуть тише: «Был момент: шла в деревню к..., – замялась слегка – как бы это сказать...» Я кивнул: «Успокойтесь. Не надо деталей». Благодарный ответный кивок. «Ночь, темно – но дорога видна. И вдруг – всхлип. Где-то спереди сбоку. А потом, хоть негромкий, но крик – и с надрывом, отчаяньем, болью: “Ну за что мне такое, за что!” – и фигура рванулась к дороге. У меня уж – рука – к кобуре. Выходили из части – оружие брали: места беспокойные. Но увидела: Лиза. И она увидела меня. Прямо взглядом ожгла. И бегом – мне навстречу – и мимо – по обочине, спотыкаясь о корни, увязая в грязи – чтобы воздух в себя не втянуть, осквернённый дыханьем моим, чтоб себя не запачкать, коснувшись меня!.. И догнать её надо, догнать, рассказать, что была за стеной, что услышала гада, что немой растерялся, не всё написал – пусть напишет, пусть сверит она с тем, что я расскажу. Не захочет со мной говорить? На колени упасть – или силой заставить послушать! И рванулась уже – догнала б – я быстрее и сильнее – и нога уж давно перестала болеть – но застыла на месте. Ждёт он, ждёт – он, любимый, родной – а сейчас задержусь – иль совсем не приду! С Лизой – это надолго, а в запасе лишь час – и бежать на дежурство. А он будет считать: всё – забыла, отбросила, словно огрызок – кому нужен такой!.. И пошла я к нему, удаляясь всё дальше от Лизы. И потом не решилась уж к ней подойти... И ведь это не всё. Уж затих её топот – давно уж затих – но я вдруг замерла, осознала: он, любимый, родной – понимает: война. Задержали: приказ, операция срочная, эшелон с ранеными, заменить на дежурстве кого-то... Он же сам воевал – сам всё знает. Да, посходит с ума – но и раньше бывало – всё по тем же причинам... Тяжело объяснять, видеть, как он изводит себя, но – война. Служба. Работа. И сейчас, для спасения Лизы – могла б. Только поздно. Догнать не смогу. На пустынной дороге смогла б объяснить. Среди сестёр и врачей... Да посмела б я вякнуть – тут бы, Фёдора не испугавшись, объяснили бы мне, кто я есть. И что было б потом, и что сделал бы Фёдор, и что стало бы с ним... Боже мой!.. Упустила мгновение – и всё... И поймите: тогда на дороге я почти подчинилась порыву – без анализа, просто по-бабьи, от души! А потом уже – годы спустя – очень долгие годы – вдруг подумала как-то: “А ведь Лиза поверила в чём-то немому. И себя укоряла за веру, за сомнения в этом...” Ой, простите – чуть не вырвалось резкое слово – скажем просто – мерзавце – и сомнения крепили – но свернуть не могла – и инерцией гнало её, как под поезд, – с разбегу!.. И я думаю, поезд проехал по ней».

И мне стало до боли жаль Лизу – и хотел я сказать – но она продолжала – и прямо моими словами: «А ведь Лиза могла обратиться к немому! Уточнить. И он всё б рассказал. Только – книжная девочка – стыд, что могла усомниться в несчастном, в искалеченном, в добром и мудром, говорящем такие слова! – и поверить навету. Как в глаза посмотреть? В эти лживые наглые буркалы – жаль, не выжгло их к чёрту – уж простите, но жаль! И как девочку жаль! Молодая и гордая, глупая – несмотря на культуру и чтение стихов». Я добавил: «Скорей, от культуры и чтения стихов» – и она, подтверждая, кивнула.

«А ведь я чуть не стала, как Лиза!.. Первый мой! Как любила его, как жалела! И как ждали они – санитарки, медсёстры – с содроганьем, с восторгом, с уважением ко мне – что я стану женой инвалида! И хотела я стать – только что-то держало. Не давало сказать нужных слов. А он тоже не мог. Потому что хороший и совесть имел. Не хотел навязать мне обузу. И рвалось у меня с языка – но никак... Комом в горле вставали слова – и – молчок! И ответная тишь. Да проси я сама – трудно было б его умолить – хоть и сам больше жизни хотел! Умолила

б, смогла б!.. Не возникли слова. Муки родов – и пшик. Может, сдрейфила просто? Не решилась взвалить этот груз? Быт, уход за безногим. Доказать не могу – ни себе, ни тем более вам – только нет! По природе я – медик – и подобных забот не боюсь. Ощущала другое: не мой путь. Не такими, конечно, словами. Ощутивши же: мой! – головою, как в омут! А ведь страшно-то как... Из любимиц – в изгой! Санитарки и сёстры – будто каждую – мордую в грязь! – обманула и плюнула в душу. И такие презрение и злоба ко мне! И я знала: так будет. Но шагнула – ко второму и дальше, потому что иначе – никак! И опять была ночь – пострашней всех ночей – и той ночи, когда я прощалась с ногой – и когда отдавала себя в первый раз, и... – были, были страшней! Но об этом потом – может быть...» Резко стиснула руки – и с усилием продолжила: «Да какая тут ночь! Промежутки то ночью, то днём, чтобы спать. Остальное – работа. Больше б, больше её – отвлекает от мыслей!.. Боже, что я несу! Ну, простите, ну ляпнула сдуру! Лучше меньше, конечно – меньше бедствий, истерзанных тел. Но в свободное время... Как же трудно решиться! Всё сломать, зачеркнуть. Да к тому же – письмо. И какое письмо! Он не мастер писать – только сколько души и любви! И надежды, и веры в меня – хоть нигде не звучавших впрямую – чтоб меня не подталкивать к браку, чтоб на жалость никак не давить... Что скривились? Полагаете, ментор хороший попался ему – вроде этого гада?» «Ментор»... Слово какое нашла, а ещё говорит, что неграмотна!.. «Научил незаметно, ничего не прося, влезть в доверье – и добиться того, чтоб сама попросила!.. После случая с Лизой на мгновение подумала так. И стыжусь до сих пор. Прочитала письмо – сотый, тысячный раз! И увидела те же слова, что он мне говорил, ничего не прося. Чистый, честный, хороший. И такого предать!.. Только этот анализ – потом. После Лизы. А читая тогда, поняла: ко второму нельзя. И к другим – к тем, кто будут – я уже осознала, что будут: жалко, жалко их всех! Но смотреть лишь и выть, ощущая бессилье помочь! Потому что есть строки – мои: “Каждый миг вспоминаю. Люблю. Без тебя не могу. Умоляю: возьми меня замуж!” И уже собиралась послать – через боль, через жалость к другому! Не решалась, металась. Билась птицей в стекло – и не выбить!.. Разбиться! И разбилась – и адрес написан – и наутро пошлю – как себе приговор – и исполню сама. Невозможное – прочь! Хоть страдают они, мне – лишь плакать и выть. Помогать, как другие медсёстры. И металась три дня – жутких дня! Всё решалась: наутро пошлю! И никак. Ненавижу откладывать дело! Если делать – так сразу. А сейчас не могла... И вот тут – эта мысль: схоронить! Написать, что убита. Да, меня потерял. Но – война. Как у всех. Без обиды на гнусную тварь, на иуду! Обижаться – так лишь на судьбу... И схватила листок, и – вперёд! А потом порвала – тот, где я – капитан. Резко, зло порвала. Вымещая всю злость – на себя, на судьбу – на него, кто так любит меня!.. Даже так! А потом, вся в слезах, вылив боль – хоть не всю – слёз не хватит, чтоб всю! – написала опять. Подписалась сержантом, как есть... Не собой! А своё, где “Люблю” – порвала. И уже не со злостью. Со скорбью. А его, где любовь и душа – сохранила... Как и письма других... А потом – как ударило: если проверят? Обнаружат фальшивку, подлог, выдавание себя за другого. Наказанье? Плевать! И вообще: по закону – наказывать не за что. Не измена, не трусость. Не воинское, не государственное, не уголовное преступление. Дополнительный стыд? Да! Но страшнее другое: ему сообщат. Он узнает: его предала. Не могу!.. И уже от души отлегло. Не смогу написать. Значит – замуж – и всё... А потом, – ну за что же мне ум? – вот и впрямь наказание! – поняла: написать от умершего. Похоронку от трупа! Разбираться начнут, а вопросы – к кому? А от трупа писать... Прямо холод в душе. Но раз надо – пишу. И слова отыскала. А потом каждый раз находила другие слова. Да, непросто всё это. Находила пути. И их поиск порой заглушал боль души – чтоб потом она была сильней! В общем, с письмами тоже непросто, но зачем говорить о деталях? Дело в сути. Лгала. Хоронила себя. И ещё – интуицией, бабьим чутьём – выбирала, наверное, тех, кто поверят, не начнут уточнять, писать в госпиталь, по инстанциям лезть. А таким лгать страшнее вдвойне!.. Эх, была б поглупей! Не пришла б эта мысль – сотворить себе гроб – хоть в словах – я б не сделала шаг. Не шагнула б от первого – прочь!.. Обмануть: дать надежду – и подло предать? Всё равно предаю – только так, чтоб не

знал, чтобы верил: “любим!” – пусть за гробом... И теперь – схоронила себя – в первый раз! – и всю прошлую жизнь. Зачеркнула к чертям! Головою и впрямь – словно в омут. И к второму я шла, уже зная, что буду любить – и предам. И всё ж буду любить – до последнего дня!

А не сделать, как Лиза, смогла. Значит, вправду не сдрейфила, если смогла – против всех, да и против себя. Наступила на всё, чему в детстве учили, что любила, что знала, мечтала о чём. Тут не дёгтем ворота измазать, не вожжами избить! Тут – вообще... Такой срам! Там не знают – родные, деревня – но я знаю сама. Только мне по-другому – никак! И люблю их – люблю и сейчас! Каждый, каждый во мне – и права я, права!.. А пред Лизой виновна. Не молчаньем своим, а примером. Нашипели, наверное, девки – о романе с калеккой, о своём ожидании свадьбы, об измене моей – и солдату, и им. Вместо чистой, хорошей – и вдруг... – не хочу говорить! И ведь вправду его предала – и других. И они проклинают меня – иль прощают, поняв? Милосердие ко мне – из судьбой измочаленных душ! И надеюсь, и верю – и сколь трудно принять, если даже дадут!.. А она воплотила моё несвершённое в жизнь. Так ли, нет – не узнать. Только тоже гнетёт... А как Фёдора жаль! Если б с первым ушла – легче было б ему. Как-то проще, понятней. Как тому лейтенанту. Повздыхал бы – может, даже, всю жизнь! – но другую б нашёл. Сколько женщин вокруг – и сестёр, и врачей – и получше, чем я! Ревновавших ко мне – и за это втройне ненавижда меня! А не здесь – в мирной жизни б нашёл. Не нашёл бы? – ну что ж – всё равно легче жить, чем с нещадно сдираемой кожей – каждый день, каждый час!»

И опять – почти крик. Чтоб прервать, я спросил: «Первый, понял, хороший. А другие? Не попался мерзавец, как Лизе?» – «Обошлось без таких. Видно, чувствую что-то. И не всяких люблю – будь без рук он, без ног. И, бывает – претит. “Слава богу” тут, правда, не скажешь – но находится тут же другой, кого можно любить. А претит не физически. Раны, шрамы, ожоги, увечья – это внешне, и дело не в них. Вот душевная гниль... И я чувствую гниль! Чую, чую душевную грязь! И к таким – нет любви. Только долг медсестры. Ошибаюсь ли, нет – как узнать? В тех, кого я люблю, – не ошиблась. А напрасно отвергла кого – может, тоже вина. Было, было такое! Раз по улице шла – и безногий один – да с ожогом ещё – прошипел: “Почему ты была не со мной? Что – ожогом побрезговала?” Как узнал он меня – через столько-то лет? Видно, в душу запала. Мне же вспомнить – никак! Сколько было таких... И причём тут ожог? Поглядела – противен он мне – и тогда, видно, был. Нехороший, видать, человек. Только жалко его всё равно! И схватила все деньги, что были, плача, сунула в руку – а он выдал ещё прогуляющую бабу – как-то грязно и мерзко – и – к другим на тележке своей. И не зря с ним тогда не была!.. Или стал он таким от чутья моего, от брезгливости к гадам? Не дала ему каплю любви – и пропал человек! Не плохой он, возможно, а битый – жизнью, мною, увечьем, людьми. И не сдюжил – и я не спасла». – «Не спасли б вы его, и не надо себя обвинять. Если гадость внутри – не исправишь ничем». Сразу – мысль о своём – и не очень приятном. Есть, действительно, гады. Их исправить нельзя! Но зачем обобщать? И тряхнул головой, и добавил: «Может, я и неправ. Или прав не всегда». – «Я не знаю, вы правы, не правы – но боялась потом выходить. Выходила, конечно: жизнь, работа, дела. Но дрожала всегда: вдруг увижу кого из любимых? Что скажу? Как прощенья просить? Обмануть, что считали убитой? Всё равно: что потом? Что нам делать тогда?.. Не хочу я об этом сейчас!» Как-то резко, трагично взмахнула рукой, искривилось лицо. И не знал уж теперь, от чего отвлекать – и спросил: «Ну а с Фёдором что?»

«Да скажу уж, раз к слову пришлось, про него и про письма – похорошки мои! Ведь тогда-то он мне предложил. Видел: лезу на стенку – хоть не знал, почему. Про мерзавца не знал, про бессилье помочь – и что плохо мне, плохо! От всего – и от этого тоже. Да, молчу, да, скрываю внутри – но ведь видно: вот-вот разорвёт... И решил мне помочь. Хоть в одном. Чтоб себя хоронила не я! Предлагал-то давно. Но я – нет! А вот тут неожиданно – да. И уже написал, и собирался послать – а во мне – эти мысли о гадах. И вдруг – мысль: а ведь Фёдора могут представить таким! Обо мне – сообщение о смерти – и написано мужем тому, с кем супруга... ну, скажем – близка! – и слова выжимала сквозь зубы. – Что подумает тот? Что мерзавец,

подлец, хочет счастье разрушить обманом – и обманом меня удержать. Нагло лжёт – и кому – человеку без рук и без ног! Да к тому ж ещё врач! Как ударила мысль, я – к нему. Рассказала. И как Фёдор вскипел: “Обо мне – думать так!” Будь другая – расшиб бы, убил! А сейчас – как вскочил, так и сел – и сказал: “Ты права. Ведь и впрямь с виду так. Пусть сочтут подлецом – не скажу, что я рад!..”. Аж по сердцу мороз – показалось, что Фёдора хватит удар. Дико вздулись виски. Могут лопнуть вот-вот. И как выплески крови – слова: “...Да плевать на себя! Только дело не в том. Не поверят письму. И напишут. Узнают... Дурак! Не продумал. Прошляпил. Прости! Ну представить не мог, что увидят таким! А ведь внешне-то именно так”. И добавил, душою кипя, но спокойно и веско: “Не привык брать назад своё слово. Но придётся. Ведь помыслить такое не мог!.. А я врач – и всё должен продумать. *Mea culpa*. Прости”». И слова «*mea culpa*» как-то вдруг прошептала она с помертвевшим лицом. Я опять, чтоб отвлечь: «И от гада есть польза. От какого кошмара он спас! Хоть не сам – мысль о нём». – «Да какое тут “спас”! Согласилась-то я, когда он доконал, когда не было сил, не в себе уж была... Впрочем, знаете: я б согласилась потом всё равно. Слишком страшно себя хоронить. И людей предавать. Их, любимых, родных!.. Так что правы вы: польза была. Без него б не увидела яму, куда Фёдор полез. А откройся обман – у него б от стыда – иль insult, иль инфаркт! При железном здорovie и нестарых годах. Он бы выдержал всё – но не стыд... Если б так! Только хуже ещё!» И опять стало мёртвым лицо – и пылало внутри. Только справилась с ним, улыбнулась слегка: «Так что польза и впрямь! Слава богу, что так получилось, хоть поверить-то в Бога – никак!»... Тоже может, как я, отвлекаться словесной игрой. Слава богу, что может! И спросил: «Значит, письма – вы сами. Ну а прочее как?»

Отвлеклась, хоть вздохнула опять тяжело: «С разговором не лезла к нему. Зачем душу травить человеку? Лишь однажды просила его отпустить, развестись. Очень тихо и медленно он произнёс: “Я один уже раз говорил. Будет грех. Будет кровь. И прошу тебя: больше не надо. Ведь и так мне хреново!” Резко дёрнул рукой и ушёл... Он мне выдал-таки свою боль! Один раз. И я больше не трогала рану. Что: хотите сказать: “На чужом горбу – в рай?”! Ну же, честно: хотите?» И не мог я соврать. И кивнул, еле двигая шеей – словно там двухпудовая гиря – и заставил себя разжать рот, резко вытолкнуть: «Да!» – и добавить – не резко уже, рассудительно, тихо: «Если б он не закрыл вас спиной – всё равно вы б пошли до конца?» – «Да. Начала я одна – не надеясь, не веря, а просто любя – никого не просила помочь – и не бросила б путь. Здесь, не здесь – оскорбляли бы, гнали, гнобили – но я б делала то, что должна». И я знал: не рисовка, а правда. «А трудней или легче за широкой спиной – не дай бог разбираться в таком!.. Мне вот дал. Да, конечно, защита – но и боль за него, стыд за то, что обрушила в боль, не могу дать любви – ничего, кроме боли! А не выдь за него – в благородстве великом своём наблюдать, как он грохнет кого-то и сгинет в штрафбате, а вернётся – так грохнет опять?! Нелегко выбирать между адом и адом! И ещё. Да, по-женски, по-бабы! Когда наглый, цепляющийся каждую выпуклость взгляд – не обычный мужской, а по шлюхе! – а под ними идёшь, как сквозь строй! – вдруг при Фёдоре гаснет, становится вежливым – даже угодливым, чёрт побери! Как войдёт он, как зыркнет – так ступается каждый, позабудет поганые мысли... Если б каждый...» Сжались руки, чуть дёрнулись губы – видно, что-то хотела сказать – но не стала, а просто продолжила мысль: «А потом, вспоминая, терзаешь себя, понимая, что хочет ударить – то ль меня, то ли этого гада! – и непросто сдержаться ему!.. Вот такая весёлая жизнь... Да и это не всё. Ведь служенье не полное. Жалкая часть! Потому что не будет увечным ни сына, ни дочери. Не продолжится род. А я им не хотела давать. Ибо, дав одному, предаёшь остальных, отправляешься в тыл и бросаешь свой фронт... Самострел. Дезертирство. Принимала я нужные меры. Всё же медик, и знания есть. Но кончалась война. И вот тут... Нет, какая любовь? Просто жалость. Сильней, чем всегда... лейтенант. Тонкий, светлый такой – в каждой косточке, жилке. Пианист. Пальцы тонкие – два – да и те неподвижны. Как играл бы он ими, ласкал!.. Не меня? Ну и что? Пианистку, арфистку, скрипачку – музыкантшу – воздушную,

светлую – словно песня души. Словно ландыш, подснежник, травинка в росе. Гладил мягкие кудри, целовал бы в глаза... Не могу! Петя, Петенька, Пётр Алексеевич!.. Может быть, в честь царя. Только тот – двухметровый гигант – страшный, гневный, усатый. У него ж – лишь пушок на губе – и глаза голубые. Только не было глаз! Выжгло к чёрту, совсем! Вместо них – одна рана. Да, не две, а одна. Переносицу тоже – к чертям! А какой был красивый! Уцелевшее фото: он – и девушка рядом. Чёрно-белое фото, а глаза голубые. Понимаете – видно – даже в серости снимка, даже в страшной запёкшейся ране!.. “Жди меня!” Все мы знаем, все помним. Сколько душ согревало оно! А его было некому ждать». – «Ну а девушка с фото?» И с надрывом и болью она бросила: «Нет!» И я видел, что боль – за него. «Понимаете – видно: не нужен он ей. Не родная. Чужая. Согласилась из милости сняться. Как, наверное, бедный, просил! Всё ведь видно в глазах – и в его – а их нет! – и в её – равнодушных, со скрытой издёвкой. Нет, ещё раз поверьте: перед жизнью не лгут, а я жизнь открываю сейчас, не желая казаться ни лучше, ни хуже, – не любила его. Просто жалость сводила с ума. Он уйдёт без следа – не сыграв своих нот, не продолжив нить рода. А такому уйти – для чего тогда жизнь, для чего тогда мы! И глядела я в ночь, как пред смертью ноги, вопрошала себя – и предстала пред мужем, и сказала, зачем. Он взглянул мне в глаза, сжал мне плечи, вторично коснувшись меня – и смотрел – долго-долго – и лицо неподвижно, и все чувства укрыты под углями глаз – лишь ручищи, как печи, и пугающая мощь – разорвёт пополам!.. Может, лучше бы так! Только руки сжимали слегка, невесомо – а потом опустились, и он мягко, проникновенно, словно благословляя, промолвил: “Иди!” И мне б пасть на колени пред ним, целовать пальцы ног – но подобное слишком картинно, нелепо – и я чмокнула в щёку – неловко, порывисто, быстро – и пошла на служенье – подарить человеку продолжение его. Человечьего сына». И иконное было лицо. Из оплывших, размазанных временем черт возникал неожиданный лик – большей силы и строгости, чем на портрете. Там – любовь без предела и жертва за всех, здесь же – жертва вдвойне. Как на ликах с икон. Два едва отличимых лица. К одному – потянуться всем сердцем, душой, пред другим же – упасть на колени – и подняться до неба – силой боли и скорби его. «Он был счастлив?» – «Едва ль». Из иконного лика – с печальной улыбкой лицо. «Он ведь чистый и честный. И, когда я пришла, оттолкнул, прошептал: “Меня ждёт”. – “Эта – ждёт? Эта гадина – ждёт?” Я едва удержалась – но вбила слова себе в рот – и этим горжусь. Чем мне в жизни гордиться ещё!.. И я гладила мягкие волосы, говорила в слепые глаза: “Дай мне сына! Пусть он будет, как ты – тонким, светлым, хрустальным, как песня ручья, ясноглазым и нежноголосым, чтобы в нём отразилась и наша земля, и небесная синь с лебедями на ней. Чтоб твои голубые глаза – ведь они голубые?” – и он шёпотом выкрикнул: “Да!” – продолжали сиять – и чтоб девушка-песня – добрей и прекраснее всех – утонула в их свете. Дай продолжить тебя!» И он дал, как мой муж, принося себя в жертву, изменяя любимой, которая – выдумка, ложь, а он верит – и этим живёт, и за это готов умереть. Так – в обмане и жертве – зачинался мой сын. Чтобы знать: “Удалось!” – нужен срок. Время Фёдор Семёнович дал. Уж не знаю, какими путями – но держал он Петра, не давал увезти его в тыл. Только сам всё чернел. И весь внутренний жар направлял на больных. Что творил за столом! Как в атаку ходил. Рисковал, где б никто не рискнул. Но при этом – железный расчёт. И вытаскивал в жизнь тех, в ком не было жизни, в ком уже лютовала коса – но он скрешивал скальпель с косой – и спасал. Успевал, словно было пять рук – и сосуд зажимал, и второй – и тут я успевала помочь – и не встанет в траве ещё шест со звездой. С ним – без слов, лишь по делу – как доктор с сестрой... Что творилось вокруг? Взгляды – злые, косые – как сквозь строй – но плевать! И когда страхолюдина-врач прошипела: “Обрюхатили сучку!” – я не стала ей портить лицо – просто молча ушла – и предстала пред мужем, и сказала: “Он есть. Человеческий сын”. И он молча кивнул и приобнял меня, как отец. И пошла я к создателю сына – и, казалось, сквозь бинт засверкали глаза, и из губ донеслось: “Мой подарок тебе. А теперь ухожу. И меня не ищи. Помогать не смогу, а обузой не стану. Если есть та, кто ждёт – повинюсь перед ней. И поймёт, и простит. Ведь не ради себя”. Я представила тварь с фотогра-

фии – и так больно вдруг стало!.. И вот эта – поймёт? И вот эта – простит? Ей вообще до него дела нет – а без глаз и без рук... И – вульгарно-красива. И, хоть мало мужчин – за неё будут биться... А потом он шепнул – очень горько, с надрывом: “Ей обузой не стану. Ухожу в никуда – и ты тоже меня не ищи. Если выправлюсь, встану, чего-то добьюсь – сам найду. Помогу. Если ж нет – не хочу оказаться пред тобой и пред нею никем. Человечьей развалиной. Спившейся тварью. Может, буду жалеть, надирать сам себя – и от злобы к себе ещё яростней пить!.. Ты прости, что сорвался – бывает же жалко себя!” И я вспомнила ногу свою, свою страшную ночь – и ласкала, и гладила, и целовала лицо – и бинты, и где нету бинтов – и кричала по-бабьи: “Не бросай!” – и неважно, что слышат вокруг – и не нужен он мне, как мужчина! – а спасать, чтоб не сгинул без рук. И тут он заорал: “Прекрати!”, а потом – умоляюще, мягко: “Не трави ты мне душу! Очень страшно сейчас уходить. Но я должен – иначе не буду себя уважать. И потом не ищи, если сам не найду. А то тоже не будешь меня уважать, увидавши, во что превратился. Лучше думай, что умер. И на взлёте, пытаясь подняться – но чуть-чуть не успев. Обещай, что не будешь искать!” – И, ты знаешь – сейчас я б, наверно, смогла б удержать, найти нужное слово – опыт, возраст, раскаянье, боль – но тогда не смогла. Он ушёл в никуда, в пустоту». – «Не нашёл вас потом?» – «Не нашёл. И, надеялась, всё же не умер, не спился. И достойно живёт. Просто, всё же – война. Документы частично погибли. И не смог отыскать». – «Ну а вы?» – «Я дала ему слово. И не стала искать – ради тех, кем мы были тогда». И железо сверкнуло на лике иконы, а за ним – боль – сильнее стократ... Помолчали.

«Дальше – в тыл. Завершалась война. Никого уже я не бросала! Муж дал в руки ключи: “Будешь жить у меня. И все деньги – тебе. И – держись!” И, не обняв – зачем-то – уж не знаю, зачем – щёлкнул вдруг каблуками, развернулся – и резко, размашисто – прочь. И я – не рванулась за ним, не сказала спасительных слов, не упала на грудь – а застыла, опешив. А когда отупенье прошло – было поздно – стучали колёса – и уж некуда было бежать. Но его отпустила не в смерть. Нашу армию чуть отвели – пополнять, – и бои – далеко. И, хоть я заклинала: “Вернись!” – но довольно спокойно, без боли – и не каждые сутки. И – Победа! Помнишь радость, восторг?» И я помнил – и как расстрелял всю обойму – в белый свет, – в память тех, кто ушёл, – чтоб слышали где-то салют. «Он не ехал. Писал из немецкого города: “Жив. Нужен здесь. Как отпустят – вернусь”. Вот и всё. И я тоже писала: “Жива”. А потом – светлый август, сыночек ударил в живот – и вдруг страшное слово “война”. Снова ужас и смерть. И он там – понимала я – там! За Хинганом, в Китае – и японские пушки палят по нему. И вернувшийся врач подтвердил: “Там он, там. Сам просил, сам хотел – вышиб лбом направление туда”. И, пожалуй, хотел мне добавить – но, взглянув на живот, пожалел – и, оставив продукты и мыло, хлопнув дверью, ушёл... И не так, вроде, страшно – всё же врач он, хирург – не в атаку ж ходить! Только сердце болело. Как молила – не знаю кого: “Пощади! Дай вернуться живым!” – и младенец бил ножками в такт изнутри – будто втоптывал в землю... О, боже!» – тут она отвернулась, промокнула глаза – и сидела, прижавши платок. А когда убрала – я едва не обрушился в плач. Видно, стар становлюсь. Но в глазах её столько сознания вины, столько боли и жалости – к мужу, отнюдь не к себе!.. Впрочем, нет – и к себе: «Ну за что ж! Я хотела, как лучше!», – и такая глубинная скорбь на измученном добром лице – что чужую бутылку схватила рука – и готов был открыть и разлить – в два стакана – чтобы выпить вдвоём, чтоб залить этот ад! Но сдержался, поставил бутылку на стол, чуть не грохнув – но всё ж не разбил. А она продолжала: «А боялась не зря. И молилась, наверно, не зря. Может, мною спасён – хоть отправлен на гибель был мной! Привезли – и искромсан живот – там какой-то мясник наворочал – и вот тут академик-хирург – как коллеге и младшему другу – ещё с фронта ценил – сделал больше, чем мог. Все врачи восхищались потом. Мне ж ручищей сжал руку: “Ты лишь можешь спасти. Всё, что было – к чертям! Есть лишь он и ваш сын – и вы с сыном спасёте его! Ты должна это сделать, должна!” А потом вдруг по-старчески ласково: “Сделай, доченька, милая, сделай! Спаси!” Знал он что-то, не знал? Он – единственный в мире, кому

Фёдор бы мог рассказать. Не случайному встречному вроде тебя!.. Извини. Я сама ведь такая. И ты первый, кому говорю! Ибо вижу, что ты – не случайный... Отвлеклась... Академик и сам мог понять. Он такой! И меня перевёл в институт – и сидела я с мужем, и спасала его. И он рад был увидеть меня, несмотря на живот. Только ночью, в бреду – о, не слышать бы мне! – проклинал, и молил, и любил – и то матерный крик, то молитва, как в храме – не привычному Богу, который в церквях, а незнамо кому. И страшней нет минут!.. Только были страшней. Он очнулся – и память хранила слова. И он видел меня после слов. И взял руку мою, и приблизил к губам. И коснулся губами, и выдохнул слёзно: “Уйди! Когда вижу тебя – всё кипит. Знаю: хочешь помочь. Вижу: делаешь всё. Только лучше уйди. Мне прописан покой. Не виню я тебя, не клянусь, и, как выйду, вернусь. А я выйду – чтобы ты не винила себя. Но пока – не тревожь!” И ещё раз коснулся губами руки. И закрыл с напряжением глаза – чтоб не видеть, как я ухожу. Чтобы не было силы открыть и увидеть, как становится щелью просвет, и с последним движением двери – безнадёжной глухой стеной без меня. И вот тут началось! Эти ночи без сна, когда я заклинала: “Живи!”, когда я проклинала себя – но смогла удержаться – уж неведомо как – чтоб не бросить проклятье ни Пете, ни сыну – ни всем этим без ног и без рук – всем, спасаемым мной, а сейчас многотелою массой терзающим мужа – хоть не зная о том. И так каждую ночь. А сынок бунтовал в животе и просил меня: “Спи!” – и, жалея его, выпивала я что-то безвредное, шлющее сон – и немного спала. А наутро – туда – не на слёзы под дверью и вопросы: “Как он?” – на работу без продыха – чтобы не было мыслей. Академик велел загрузить – и все знали – чтоб с ума не сошла от волнения за мужа, чтоб не скинула. Относились тепло и жалели – особенно сёстры, – видно, больше не бредил! – что вдвойне утешало после жгущих презрением глаз. Но ночами... Как тянуло меня за язык – встать и бросить проклятье – перед миром, пред небом – уж не знаю, пред кем! – и тогда заставляла себя я подняться и торжественно, строго молить о спасенье для всех, а порою, в слезах, на коленях, всею болью души, из незнакомых глубин, как «катюша», выстреливать крик: “Всех помилуй их, боже! Есть ты, нет – но помилуй их всех!”»

И мне виделся образ Заступницы, люто, смертно измученной болью за всех, от мучений готовый проклясть защищаемых ей – но любовью своей превращающей эти проклятья в мольбы – и нет силы сильнее подобных молитв.

«А потом был звонок. Боже мой! Позвонила из дома в отделение – спросить, как он там – и сестра – видно, новая – ляпнула: “Плохо! Кризис”. И тут вдруг я услышала крик: “Дура!” – и совсем нецензурно потом. Академик кричал. Первый раз – и последний – от него – и такие слова! Мог унизить – но всегда справедливо – говорю то, что знаю, то, что видела лично! – и притом – до предела корректно. Даже в меру бравируя этой корректностью – чтоб пресечь нарастающий вал агрессивной, напористой грубости. Кто при нём бы посмел! И вообще в институте. А теперь – оскоромился сам. Значит, вправду душой болеет о нас! А он выхватил, видимо, трубку, заорал: “Ты нужна! Собирался звонить. Медсестра заболела. Будешь мне помогать. Выезжай. И бегом! С ним – терпимо. Всё пройдёт. Паникёршу не слушай. Первый день на работе. Ей любая царапина – рана. А мне помощь нужна. И хорошие руки... Да не с ним, а с другими больными! Так что быстро сюда!.. Подожди!.. Извините за грубость! Пере-нервничал. Вы действительно очень нужны”. Значит, срыв, этот матерный крик – не от боли за нас? Что ж там всё же творится? Я рванулась к дверям. Только – мысль: а вдруг, всё-таки, Фёдор? И, покаюсь – шагнула назад. Пять минут – даже десять! – отняла у больных. Ради Фёдора – тоже больного! Письма – те, над которыми плакала прежде – до отъезда его на войну – и которые после хранила, не смея коснуться и вспомнить о них, – письма милых, любимых – и брошенных мной! – я взяла и сожгла. Чтобы Фёдор был жив. Хотя вряд ли влияет на жизнь и на смерть – только сделала так! И он жив – и особого кризиса не было. Дура там молодая и впрямь. Академику я помогла. Медсестра не болела – я узнала потом. Должен был он меня загрузить – и всё сделал, как надо. И спасибо ему! А вот письма сожгла. И как жаль!.. Осудили

б они? Я не знаю. Но молила сильнее и сильнее: “Всех помилуй их, боже! Есть ты, нет – но помилуй их всех!” Так недели прошли – как давящий каток, как утешающий танк».

И тут мне стало плохо – вспомнил вдруг лейтенанта с красно-чёрной орущей дырищей рта над женою своей, санинструктором Кочиной с невозможным кошмаром взамен головы – и вцепился я пальцами в стол – и сжимал их до хруста костей – и уж чувствовал в кончиках боль – и, казалось, кровь хлынет из них – но легли две ладони – тёплых, мягких, жалеющих – и родной, исцеляющий голос просочился сквозь боль, прошептал: «Всё прошло. Нет войны. Ты живой», – а когда чуть расслабились пальцы, продолжал: «Извини! Был, наверное, тоже под танком – лишь окопы спасли?», – и я только кивнул и чуть слышно сказал: «А её не спасли. Не мою – только жаль, как мою!» – «Бедный! Бедный!» – и слёзы текли мне на руки – и уже покрасневшие пальцы не сжимали измученный стол, а она их прижала к губам и шептала: «Прости!» А потом, стёрши слёзы, вновь сказала: «Прости. Ты вжимался в окоп, над тобой – многотонная масса – и, увидев останки других, мог представить себя, – а я лезу с душевными муками – и осмелилась с этим сравнить. Ну, прости!» И я тоже поднёс её руки к губам. «Ты могла так сказать. Ты – могла!» И её благодарный кивок – и «спасибо!» – из сердца – за признание мук. А ведь было, ведь было оно! И рычит, и ревёт, и стремится вдавить, вжать, размазать в кровавую слизь – и срываются комья земли – и всё рухнет вот-вот – и конец! И вжимаюсь я в землю – глубже, глубже, сильнее – а он ближе ко мне – и спасения нет! И кричу, и взываю незнамо к кому – не к священным писаньям каких-нибудь вер – а к кому-то, кто б спас! А он ближе и ближе – и коснулся-таки! На спине потом – сорванный клочок – и шинели, и кожи. И ещё бы чуть-чуть... Но он двинулся дальше – на соседний окоп. И над ним-то потом и кричал лейтенант. Хотя что мне до этого крика – сам ещё весь дрожу от недавнего страха... Потому и острей, и больней этот крик!.. Как там было в стихе:

И вражью пушку заодно с расчётом
Мы вмяли в жирный, рыхлый чернозём!

А вминаемым быть каково?... А вминали ведь танком её! И не зря было сказано «тоже»! Уж иначе б она не сказала про танк!.. И спросил: «И вас тоже утешил?» И она как-то просто, спокойно ответила: «Да. И вжималась я с раненым в щель – а над нами ворочался танк». И сказала-то как-то стесняясь, извиняясь как будто за эти слова. Я ж представил окоп – и она прикрывает кого-то на дне своим телом – бесполезно и глупо – но не может иначе, – а над нею ревёт многотонная масса, как тогда надо мной – и уж рядом, уж рядом она – и спасения нет...

А она говорила. Что-то я пропустил – начал слушать со слов: «И я вдруг поняла, почему отпустил он к Петру. Тот – больной для него – и, как врач, разве мог он сказать: “Я чем хуже?” Где-то даже в бреду проорал: “Если б ранили раньше!” ... Словно милостыню просил! А потом, спустя годы... Боже мой!» Резкий вскрик – но, сдержавши себя, продолжала:

«И на улице вдруг прихватило – рожать! И меня он забрал из роддома. И ни слова упрёка. Сын, как свой – и, казалось, семья. Только сын становился светлей и светлей. И глаза голубее озёр – словно в них оживали вдвойне истреблённые взрывом глаза – недопетая песнь пелась вдвое сильней... Недопетая жизнь... Он на Федю совсем не похож. В нём воскресли глаза – те, что выжгли к чертям! Я спасла их, спасла!.. Вы поймите меня: не любовь тут – иное: свет для мира я видела в них – и вернула его в этот мир... И пред Федей я тоже чиста: и его глаза миру дала... О своих же глазах не сказала – и не думала даже. И от них – ничего – лишь рисунок, который запрячут незнамо куда. Или выбросят в хлам!.. Может, вспыхнут лампадки во внуках – если только им быть. Слишком часто природа пресекает таких. На корню.

«И две дочки с глазами, как ночь, с чернотой волос, хирургини от бога – в отца! – не могли заглушить его боль». – «Ненавидел ребёнка? Вымещал на нём зло?» Гневный взгляд –

как удар по щеке! «Как ты смел! Он всю душу вложил. Дочерям – лишь остатки. Тем сильнее любили его!.. А ведь в чём-то ты прав. Извини. Было: ночь; он, измученный, спит. Операция – много часов – и летальный исход – и себя обвиняет, клянёт... Наглотался снотворных, уснул. И во сне вдруг: “Петрович!” – и с такой безнадёгой, тоской! От него не слыхала “Иваныч”, “Ильич” – не любил такой формы. А здесь вдруг... Неужели же к сыну? Ненавидя его? Прези-рая его? Я всю ночь не спала. Что творилось в душе! И жалела себя и его. И себя проклинала. За что? Ну, за что я его подсекла? Исполина – под корень. Жить ему бы с другой! Сыновья – чернокудры, сильны – и всю силу свою – на спасенье людей – как он сам. А Петрович – мой сын? Как старался, мечтал быть врачом – но никак! Склад душевный не тот. А над скрипкой замрёт и коснётся смычком – прямо сердце болит от всей муки людской, от безмолвья могил, от страдания живых, но терзаемых болью. Ну откуда в мальчишке такое? От бессонных ночей, бивших вглубь живота, насыщавших его – эмбриона – не живительной влагой, а ядом? Но сей-час он играл – и палач бы, отбросив топор, рухнул в ноги казнимым, и убийца, бия себя в грудь, шёл бы требовать мук. И учиться ему б!.. Но считал баловством. Хирургия – вот дело! Испе-ление людей. Уж как Фёдор Семёныч его убеждал: “Становись музыкантом! Учись! Пробуждай в людях душу! И не меньше спасёшь, чем хирург!” Но напрасно. Стать хорошим врачом он не мог, а плохим – не хотел. И ушёл». – «А куда?» – «Санитаром. Во ад на земле – место мук перед смертью для старых людей. Где готовят их в ад. Где в бесправье текут их последние дни, где их быют и гнобят, чтобы сдохли скорей, где стремятся лишь больше украсть, вырывая из глотки последний кусок. Не дай бог оказаться в подобном аду! Да, виновен – отправил к чертям свою жизнь – не построил семьи – иль создал – не как храм – как отхожее место – и расплата пришла. Справедливо и честно. Как топор палача... Он принёс милосердие во ад. Ну что может простой санитар? Но при нём было стыдно. Приезжала туда, когда он поступил. И потом через несколько лет. И грубейшей души санитары подходили ко мне и шептали: “Спасибо за сына!”

Только скрипку он всё-таки взял. И когда под движеньем смычка возникали – нет, не Моцарт, не Бах – а сокрытые в каждом и радость, и боль, и вершины любви, и глубины печали, – когда он, санитар в богадельне, позабытой и богом, и чёртом, становился вдруг гласом небес, и сердца раскрывались пред ним, старики выползали из нор, силу нот ощущали глухие – и в едином порыве остатки людей становились людьми – и слоновая туша завхозши с мордой каменной бабы истекала слезами – и назавтра, наверно, чуть меньше сворует. И играл он своё – не смычком, а хрустальной струйкою слёз – и из сердца текли они в руку – и тревожили струны и души. И играть бы ему в многотысячном зале! Нет, уже виртуозом не стать – годы жизни ушли. Но душа здесь важнее мастерства. Как поэт со своими стихами – без актёрских потуг – но с душою стиха – и ценнее его слово, чем умелый сценический образ, знание техники сцены и прекрасно поставленный голос. Здесь – создатель, дающий дыханье Адаму, перво-смысл первослова, засверкавший внезапно в открывшейся грани – и искусный гранильщик не выразит лучше затаённую сущность кристалла – хоть придаст привлекающий яркостью блеск. Нет, конечно, учёба нужна, мастерство – но когда вдруг откроется бездна, и коснётся души, и войдёт в очистительность слёз – лишь склониться пред ней и молитвенно, кротко внимать – и забыть про вдруг дрогнувший голос или смазано взятый аккорд – и сквозь трещины видеть великую фреску в первозданной, рождённой навечно красе... А придать бы ему мастерства! Боже мой! Разлетелся б на зёрнышки зал – и летели б они в вихре нот – и, куда б ни упали – прорастали б добром. Сам лишил он себя мастерства – не себя – свои руки – милосердием усиливши дух, утончив до последних границ. Понимал же: неправ, отшвырнув свои ноты и схвативши ночные горшки! Композитором, лауреатом – мог бы больше помочь. Только как сочинять, если люди страдают? Убеждал его Фёдор, горячился, кричал – да, впервые кричал на него! – но напрасно, хоть глотку сорви! И ведь сын понимал, что неправ – и от этого мука сильней, и отчаянье злей – и пронзительней музыка! В ней и боль восхождения на крест для спасенья других – хотя мог бы сиянием глаз истребить палачей, сделать пеплом, развеять по

ветру! Но где жертва тогда? – хотя здесь-то она не нужна! В ней и плач одиночества, когда некому слова сказать, когда всеми презрен и отринут – хоть страдаешь за всех!.. Я нахожу в ней своё. Кто-то, может, другое. Только плачут от музыки все. Несмотря на плохое звучание, на досадные сбои. Эх, сюда б скрипача!

И просила я Федю: “Пригласи музыкантов к нему! Пусть услышат, сыграют – и наш мир станет лучше, добрей! А на авторство мне и ему – наплевать!” ...Для себя попросить у больного? Это Феде – табу! Но сказать между делом – в разговоре про жизнь – без нажима, без просьб – чтоб тот сам предложил, если нужным сочтёт, – скрепя сердце, он сделал. Ради сына и ради меня... Был скрипач – выдающийся мастер – и его пациент. Как тащил его муж с того света – не руками – зубами тащил! И я рядом была – как на фронте, как в жизни – и могла оценить. И врачи с уваженьем смотрели: “Сумел!” – ведь не брался никто. И, искрясь благодарностью, счастьем дышать, прослезясь от нахлынувших чувств, тот, бия себя в грудь, обещал, клялся жизнью, душой, что поедет хоть в самую глушь, проберётся сквозь грязь – в сапогах или без, – тут я вспомнила фронт – сразу стало тошнить от его хвастовства – но смолчала, решила проверить. Экспансивный? Ну что ж: музыкант... Не мерзавец, втиравшийся в дружбу. Не подлец. Наплеватьство просто! Обещал от души. И тянул – от души! За два года – никак... Пустобрёх!.. Нет, звонил, приглашал на концерты – но, как только о деле – “Извините, спешу! Через месяца два...” – всё гастроли, турне – или отдых – с семьёй – а порой – не с семьёй. А из месяцев – годы, а из клятв – болтовня. А потом – вновь к врачу. И опять его Фёдор Семёнович вырвал из ада – где ещё обитанье лжецу?.. Ну, про ад – чересчур. Но уж очень болит! И у Фёдора тоже. Ни полслова ему не сказал – в человеках не числил его. Как больному же сделал, что мог – сделал больше, чем мог. И когда тот полез со слезливым потоком речей – отвернулся и вышел. Нет, не хлопая дверью – зачем? И к тому же больным волноваться нельзя. Не губить же хирургу труды своих рук! И сейчас этот толстый, ухоженный пилит на скрипке... Нет, играет. Блестяще. Да, хороший скрипач. Но великим не стал. И не льются потоки добра, очищая людей. Лишь разносятся в маленьком зале в богадельне, гниющей средь грязных дорог. И я верю – кого-то спасут».

– «А чтоб сын сам приехал к нему? Ведь разумней, пожалуй?» – «Несомненно, разумней! Предложи так вначале скрипач – без вопросов! Только он предложил по-другому. Сам причём предложил – за язык не тянули! Да с надрывом каким! А теперь унижаться, просить? Если б Фёдор решился – ради сына, меня – я б воскликнула: “Нет!” И не ради красивого слова».

Понимал музыканта: тащиться чёрт знает куда, видеть бездну страданий – не возвышенных – грубых, житейских, без пылающей мощи искусства – где-то даже подумать: «Не верю!» – и поверить потом, и подумать о смерти – и о старческих муках – а затем доморощенный гений будет вяло пикировать на скрипке – или бешено мучить её – и изволь в благодарность врачу выжимать из себя одобренье – или резко, сплеча: «Дилетант!» – чего тоже не хочется делать – и из грубого шкурного интереса, и просто по-человечески. Вот и тянул... Понимал. Но простить – ни за что!

«А спросить про “Петровича” я не смогла. Той же ночью – инфаркт. И, хоть сделали всё – не спасли. И, когда хоронили – сколько было цветов, сколько слёз! Академик, рыдая, погладил меня, нежно обнял, как дочь, и шепнул сквозь седые усы: «Не вини себя, милая! Взял он муку твою на себя, вырос ей над собой, через сердце влил в руки и ум, утончил до невиданной силы – и спасал ей людей там, где бог бы не спас. Там, где я бы не спас! Для меня он, как сын. Ты – как дочь. И спасибо тебе!» И склонился к руке, и, с трудом распрямившись, пошёл – смутный отблеск забытых времён, старых книг. Догорающий истинный свет. А потом, – и она побледнела, сжались руки, и вдруг заострилось лицо – как у мёртвой, – я увидела взгляд. Два – сперва фиолетовых, дальше – неистово-чёрных огня – устремились ко мне – из-за спин, а затем, раздвигая ряды – ближе, ближе – и, стократно черней из-за снега волос, из-за цвета лица – без единой кровинки, – и слова – по щекам: “В нём здоровья и силы – на роту. Жаль,

тогда не отрезала обе!” – и пошла. И опять – не догнать. Не сказать... Академик бы смог. А потом – хоронить старика? И осталась с отхлёстным сердцем. И наверно, считает – блужу до сих пор... А права ведь она. Боже мой, как права!.. Хоть не так, как считает!» Я ладонями обнял неистово сжатый кулак – и коснулся губами, едва не примёрзнув – и рука, отогревшись, разжалась, и лицо перестало быть трупным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.